СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ МИХАИЛА СИВАЧЕВА.

T

"ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ"

statis

С-ВО «СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ»

	ABLACTA CERTAIN	ІЯ ПРОВЛЕМЫ". МОСКВА
	АВГУСТЪ СТРИНДБЕРГЪ.	WORNER DIST
35	то сочинения. 15 томов	L. HONHOR COORSE
	Lumail	перев. съ француя развий. 5 томов
	4 ИСПОВЪДЬ ГАУПИА Done	ВНА. ТОМА
		1 Изъ міра "Бывшихъ людей".
211		Романъ
3 18	4 Утопім въ дъйствительности. Но- веллы, 2-е нежили	— 2 Нанда любви. Романъ
	Веллы. 2-е паданіе 1.	OCS TOWNEY (HOLD)
2 3		"Жорка Этомновь печати.
图 18	6 Чандала, Романия и писателей. 1.	"Жорка дкоута я охотно назваль б бельгійским». Горьким, настолько он разокь и мучительно правдинь вы св их разскавахь. Ивань Жилькент
	7 Готическія комнаты. Романъ.	ихъ разсказачта
とは	8 Сынъ служании. Ром. 2-е изд 1.5 9 Историческія правы	
1 1	9 Историческія драмы	Собраніе сочиненій. 7 томовъ.
1	О Трагиномедія брана. 2-е изд 1.2 Романтичный пономар	5 1 U M X
150	Paspara Hophome	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
I	2 1) Легенды 2) Графиня Юлія 1.— 3 Развитія одной вистем	1 1) Сюннёве Сольбаниенъ. (Пов.).
I I		
14	Мастеръ Улофъ. Драма. 1.25	2 1) Одинъ день 2) раз
	LMEDTH O	2 1) Одинъ день. 2) Волосы Авес-
1 15	Самумъ. Отецъ (печ.).	3 Рыбачка Ромоти
	Черныя знамена. Ром. (печ.).	4 Новобрачн. Леонарда Арне (печ.)
Head	Изъ отзывовъ печати. Переводъ произведеній Отриндоерга,	- when (med.).
лей	переводъ произведеній Стриндберга. Омибино, обогатить русскихъ читате- знакомствомъ съ яркимъ и своеобрав- сть талантомъ. Стриндбергъ всегда къ его дароката. Неподръдънна	Лис пуста отзывовь печати.
Силе	в талантомъ. Отриниберга	Вьерисовь особенно виженаго общества
блес	налантомъ. Стриндбергъ всегда нъ и оригиналенъ. Неподавленъй къ его дарования, чуждаго модилих- всеть даже постанныхъ эффектовъ при	МЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ. "Пля русскаго образованнаго общества въсрасовъ особенно интересенъ своими положительными типами, тс., какъ разъ тъмъ, чего у насъ нътъ. Тъмъ, чего наши даже самые выдающеся писатели никакъ.
TO Trans	и разочитанных од д	даже самые выдающеся писатели никакъ не могутъ совдать, несмотря не пот
Давл	енный тяжелыми читатель, по-	не могуть совдать, несмотря на всъ свои старанія. Д. Городецкій, (Р. Сп.).
одол	имую потробы, чувствуеть непре-	д. городенкій, (Р. Сл.).
пвик созов	ской пенхологія, чувствуєть непре- имую потребность вырваться из- них стаей мизантропическаго міро- пранія автора". "Со вр. м.	TOMAC'S CAPITA
СОВЕР	дани автора". "Совр. Міръ".	HUMHOR COODSHIA COURSE
ГУ	CTABB ada PEREDON	LIMAH.
Пол	ное собрание сочинений. 10 томовъ.	I Настоящее — ЦВна
Toma	объемия. 10 томовъ.	1 Настоящая женщина. Романъ
	Шѣна	THE TORILLAS WALLIAM DO
1	Комедія брана Романа в	THE PARTY OF THE P
35.0		
2	О. А. Веселовскаго 1.	ТОМАСЪ МАННЪ.
3 6	оновыя силы. Романъ 1.— олова медузы. Романъ 1.25	Полное собраніе сочиненій. 5 томовъ.
4 1	олова медузы. Романъ 1.25 То Въчная загална 2) ма 1.— То	Ма
	HIN CRAHT TRO MAJIEHS	THE PARTY OF THE P
6 B	пасть значиния Вомана 1.25	1 Фіоренца. Фрилензия
6 Tp	Parenia Cauck	2 Новелян
7 M	arb w Chur Down. Pumanb, 1.	2 Новеллы. 1.— 3 Семейство Булленбросский 1.— 1.—
5-77 (79) 4 8 (4 C)	9, и 10 (печ.).	3 Семейство Будденброоковъ. Ром. 1.25 4 Паденіе одной семьи. Романъ. 1.25
	Изь отзывовь пачати. динъ изъ самыхъяркихъ, проница-	



МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

собраніе сочиненій.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ". МОСКВА—1911.

C 64 28 михаилъ сивачевъ.

"ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ"

(Записки литературнаго Макара).

КНИГА ПЕРВАЯ.

C-343

CONTRICTOR OF STREET

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ", МОСКВА—1911.

БИБЛИОТЕКА имени в. и. ленина

ОТЪ АВТОРА.

Знаю, что большинство людей, это люди— умьюще спокойно, даже съ улыбкой, съ пожатемъ плечъ проходитъ мимо самыхъ страшныхъ явленій, людей обладающихъ «похвальными» качествами ни передъ чъмъ ни останавливаться, ни содрогаться—и не къ такимъ обращены мои записки.

Имѣю въ виду читателя изъ тѣхъ, который «имѣетъ уши слышать, да слышитъ». Такого читателя я приглашаю заглянуть, что за пропасть отдъляетъ человѣка изъ народа отъ интеллигенціи: шесть лѣтъ я убилъ на попытки перекинуть черезъ эту пропасть мостикъ—и не могъ.

Шесть льть я смотрыль на людей, олицетворяющихь собой лучшій цвыть современной культуры, смотрыль, расплачиваясь за такую «честь» муками свыше человыческихь силь, смотрыль и, вь конечномы счеты, пришель къ заключенію, что весь этоть «лучшій цвыть» за страшно рыдкими исключеніями — банкроты духа!

Многое въ монхъ запискахъ съ перваго взгляда

покажется иногда, слишкомъ зло слишкомъ односторонне; но, милый читатель «изъ слышащихъ» когда вамъ такъ будетъ казаться, пытайтесь вообразить себя «въ моей шкуръ», суммируйте мои переживанія и мои положенія, памятуя о томъ, что капля переполняетъ чашу.

И считайте эти капли-сколько ихъ?

Прошу объ этомъ не для того, чтобы искать къ себѣ сочувствія; знаю горькую истину, что когда сочувствіе слишкомъ запаздываетъ, оно родить ненависть и злобу, а когда и отъ этихъ чувствъ человѣкъ устанетъ, оно даетъ только горечь, ибо такое сочувствіе не вернетъ человѣку его утратъ, не вернетъ его къ тому, что онъ въ себѣ имѣлъ, не вознаградитъ его за пережитый ужасъ.

Нѣть, я прошу считать эти капли для иной пѣли. И если, считая, будете отъ этихъ капель задыхаться—не обманывайте себя тѣмъ, что это, молъ, случилось только съ однимъ.

У насъ есть такія громкія слова, какъ «культура», «общественность» но...

Объ этомъ «но» я и хочу разсказать, ибо его переживали и будутъ переживать сотни и тысячи изъ тъхъ, кто вынужденъ искать куска хивба, кто безъ борьбы не желаетъ поступиться своимъ правомъ на жизнь.

Какой «хлѣбъ» и какую «жизнь» дасть имъ такая культура и общественность — объ этомъ пусть говорять мои записки:

Первоначально я началь было выпускать свои записки, называя въ нихъ всъхъ полными именами. Но потомъ я получилъ отъ одного, глубоко уважаемаго мной человъка, совътъ, «исключить изъ записокъ все очень личное, все, что можетъ быть воспринято, какъ выраженіе личной злобы къ лицу». Я приняль этотъ совътъ и всъ лица въ моихъ запискахъ пройдутъ или подъ вымышленными именами, или подъ иницалами, которыя даже не всегда точно будутъ обозначать начальныхъ буквъ настоящей фамили того или другого лица.

Исключеніе будеть для одного только М. Горькаго; но его скрыть нельзя и по техническимъ условіямъ, — слишкомъ большую роль онъ сыгралъ въ монхъ запискахъ, и слишкомъ крупно его имя, чтобы всякій его не могъ узнать.

Не нахожу такъ же и особыхъ причинъ, ради которыхъ 'его можно было бы скрыть: Горькій для меня «большой корабль», а большому кораблю и большое плаваніе.



1904 годъ.

Воть оно одно изъ наибольшихъ самопроклятій челов вчества: Капиталъ!

Къ 24 годамъ онъ изъ меня высосалъ все, что можно высосать, и выбросилъ изъ сферы труда вонъ, какъ негодную, вполнъ исполнившую свое назначене ветошь.

Пошелъ я въ больницу—не приняли:

— У насъ не богадъльня. Займете только мъсто. Поъзжайте въ Крымъ на грязи—тамътакой ревматизмъ можно вылечить. Поняли?

Я понять, что врачь не изъ умныхъ людей: знать, что больной изъ рабочаго класса, видёть, что онъ крайне бёдно одётъ и посылать въ Крымъ?!

Вмѣсто Крыма я отправился на родину. Прибыль и поселился въ наслѣдственномъ домѣ, дающимъ въ мѣсяцъ 12 рублей дохода.

Измученный дорогой, придавленный сознаніемъ, что моя пѣсня спѣта, я въ первые дни отнесся къ своему положенію съ чувствомъ огромнаго облегченія—много спалъ, просыпался и, лежа съ закрытыми глазами, думалъ:

— Ну, что же... Плохо, бъдно, но жить есть на что. Свой уголь—есть гдъ умереть. Многимъ приходится доживать свой въкъ хуже.

Но, прошла недъля, другая—я глубже взглянуль въ свое положение и ужаснулся.

Однообразно и тяжко-томительно тянулись дни моего прозябанія.

Стояла скверная, дождливая осень. Вдовая сестра, поселившаяся со мной, вставала рано утромъ и уходила на работу. Иногда не приходила ночевать домой по два—три дня.

— За день - то умаешься, а путь до дому не-близкій.

Три раза въ день навертывалась баба, жена квартиранта, готовившая мнѣ обѣдъ и самоваръ. Въ недѣлю, въ двѣ недѣли разъ бывали у мени два брата, приходившіе исключительно затѣмъ, чтобы поглумиться надъ моимъ несчастіемъ.

Моимъ убъжищемъ была маленькая избенка, уныло пучившая окна въ небольшой и чахлый садъ. При жизни отца онъ былъ цвътущимъ, красивымъ уголкомъ; послъ его смерти—заброшенный, медленно погибалъ,

По цълымъ днямъ я просиживалъ у окна, страдающій отъ мысли, что необъятность міра для меня ограничена только взглядомъ изъ этого окна, — на небольшой, безплодный кусокъ земли.

Подъ конецъ осени со мной стало твориться уже нѣчто неладное. Наблюдая, какъ вѣтеръ рветь и треплеть засыхающія и уже засохшія деревья, я тихо-тихо говориль:

— Да, братъ, погибаемъ мы. Плохо намъ. Я говорилъ—усиліемъ воли подавляя въ себъ внезапныя приливы крика или хохота.

Все чаще и чаще бывали безсонныя ночи. Мучаясь отъ ревматическихъ болей, я съ нетеривнемъ ждалъ, когда тусклый осенній разсвъть кисло заглянеть въ окна. Вставалъ и торопливо, точно сейчасъ увижу дорогого человъка, съ которымъ можно подълиться своимъ несчастіемъ, ковылялъ къ окну

— Что же, брать, а? Вѣдь, такъ невозможно. Гибнемъ мы, но когда конецъ? А если такъ будемъ чаврить еще пять-десять лѣтъ? а?

Все еще одътый дымкой осенней мглы, садъ стояль безконечно печальный. И казалось, что ему холодно, что и онъ такъ же раздавленъ, какъ я, и недоумъваетъ: въ самомъ дълъ, когда же?

Прошла осень. Наступила зима. Ревматизмъменя немного пріотпустилъ. Свое жилище я отоплялъ усердно, но безполезно: все выдувало... По пѣлымъ днямъ я валялся въ постели, кутаясь во все, чѣмъ можно согрѣться, и то съ тупой ненавистью смотрѣлъ на одинъ болѣе другихъ раздавшійся уголъ избенки, изъ котораго торчали, опушенные снѣгомъ, куски льда, то былъ захваченъ остро-волнующимъ раздумьемъ.

Я жиль неподавимой тоской по образу чело-

въка, по тому образу, что въ лицъ человъка встрътилъ въ жизни однажды; обстоятельства съ этимъ человъкомъ черезъ нъсколько мъсяцевъ послъ знакомства заставили насъ утерять другъ-друга изъ вида, но връзался этотъ человъкъ въ меня, какъ фактъ, что не напрасно въ въ нашей душъ живутъ стремленія къ прекрасному.

Я припоминаль этого человъка, я переживаль мельчайшія подробности нашихъ встрѣчь и бесѣдъ, я учитываль, сколько скитаній по городамъ и весямъ Руси понадобилось, пока я столкнулся съ этимъ человѣкомъ—я слишкомъ дорого заплатилъ за счастье встрѣтить «полноту личности» и нераскаивался.

Съ юныхъ лѣтъ я носилъ въ себѣ наклонности: жить не тѣмъ, что меня окружаетъ, а тѣмъ, что внѣ черты этой жизни. Отсюда, когда я выучился зарабатывать кусокъ хлѣба, начались мои метанія: болѣе ияти-шести мѣсяцевъ я не жилъ ни въ одномъ городѣ.

Я пытливо вглядывался въ перемѣну мѣста, въ новыхъ людей и, когда убѣждался, что перемѣна мѣста есть, а новыхъ людей нѣтъ, что и тутъ все та же жалкая, несчастная жизнь, отъ которой я бѣгу изъ города въ городъ—тогда и не въ силахъ былъ оставаться и бѣжалъ, что называется «куда глаза глядятъ».

Эти скитанія были источникомъ мучительныхъ раздумій. Я пытался убить ихъ въ себъ фразой:

«тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ»—тѣмъ, что вездѣ мнѣ говорила дѣйствительность. Но такъ до самой болѣзни съ мыслью, гдѣ-нибудь осѣсться прочно, не примирился. Болѣзнь приковала меня къ одному городу на годъ: работалъ въ одномъ хорошемъ заводѣ, гдѣ больного рабочаго не выкидываютъ, а даютъ возможность поправить пошатнувшееся здоровье. Тутъ я встрѣтился съ этимъ человѣкомъ, тутъ «административное усмотрѣніе» разбросило насъ въ разныя стороны, заставило утерять другъ-друга изъ вида.

Я снова было устроился на мѣсто, гдѣ могь долечиться, но тоска, тоска страдающая по человѣку, тоска которая не въ силахъ переносить лицъ людишекъ, снова бросила меня на путь скитаній.

Я сознаваль, что иду къ гибели, что бользнь принимая хроническую форму лишитъменя возможности существовать—и все таки метался изъ города въ городъ:

 Можеть быть, я еще встръчу такого человъка!

Но такою я еще не встрътиль, а къ положеню выброшеннаго изъ жизни пришель. И не раскаявался, что такой цѣной въ страшнобезотрадной дѣйствительности я купиль возможность видѣть одну только «жемчужину дѣйствительности». Я упивался этой жемчужиной и всѣмъ чающимъ высшей красоты въ подобномъ себѣ—мнѣ хотѣлось кричать изъ стѣнъ своей жалкой избенки:

— О, лельйте, лельйте золотыя грезы своей луши! Пусть онь смутны, пусть вы не чувствуете въ дъйствительности отдаленнаго подобія своихъ грезъ, но върьте, постоянно върьте, что онь есть, существують. Лельйте золотыя грезы своей души, ибо только неустанно върующему и ищущему можеть выпасть великое счастіег увидъть то, о чемъ смутно грезилъ, въ образъ человъка!

Я упивался и это упоеніе толкало меня на несообразности. Я забывалъ, что изъ тьмы виденныхъ лицъ, я только въ одномъ лицъ видълъ чудо, и создавалъ себъ иллюзіи. Вставалъ, одъвался и шелъ къ воротамъ дома своего.

Окраина города. Тихія, пустынныя улицы. Мерзну, а жду, когда появится рѣдкій прохожій. Жаднымъ-жаднымъ взглядомъ вопьюсь въ его лицо: что онъ переживаетъ? а не увижу-ли хоть малѣйшую черточку, хоть тысячное отображеніе того лица-чуда?! *)

И вижу лицо тупое, порабощенное жизнью, злое и слѣпо мстительное за свои обиды, лицо безъ черточки откровенія свободнаго человѣка—я вижу раба своего Я, даже не помышляющаго о свободѣ своего духа, и угрюмо ковыляю въсвою избенку.

Нераздъваясь, садился на постель и обхвативъ кольна руками, начиналъ покачиваться изъ стороны въ сторону.

^{*)} Къ этому лицу я въ своихъ запискахъ еще вернусъ.

Я говориль себь, что я почти трупь, что мнь только 24 года, а я заброшень, никому не нужень, что я не выдержу агоніи, конца которой не вижу.

И то, что тянутся дни—дни безъ смысла и цъли, а я не могу набраться мужества оборвать ихъ, доводило меня до состоянія—выразить страданіе котораго у меня не было слокъ.

Я припоминаль ту бездну жути, какую усивль разглядьть въ жизни до 24 льтъ, плотнъе обхватывалъ кольна и раскачивался—это меня спасало отъ крайности: казалось, что единственнымъ способомъ выраженія боли и скорби за ту дикую боль и скорбь, что именуютъ «Жизнью», есть только одно: сильть въ той позъ, въ какой сильть я, и выть по звъриному.

Потомъ я къ своему положению сталь относиться спокойнъе. Старался теньше думать и началъ читать. Читая—мечталъ, что при другихъ условіяхъ и я, можетъ быть, быль бы писателемъ. Въ раннемъ дътствъ страдалъ порокомъ стихоплетенія, въ бытность рабочимъ тоже по временамъ быль одержимъ зудомъ: за станкомъ стойшь, а фантазія разыгрывается и тъщитъ: если это написать, пожалуй, будетъ интересно! Иногда и писалъ. Напишешь и бросишь. На время забудешь, а потомъ опять тоже. Но серьезно о писательств в никогда не думать; слиш-

И вотъ попадаются мнѣ біографія Горькаго; хвалебі ая титература ему.

Точно богь надеждь поселился въ избенкъ моей. Трепетомъ восторга и гордости преисполнился я за Горькаго: изъ низинъ жизни—и такъ высоко?!

И впервые у меня появилась мысль, что образованіе для таланта необязательно.

Нѣсколько дней я колебался, а когда спросиль себя:

— Что, собственно я теряю, если у меня не окажется данныхъ?

Тогда у меня явилась бумага и чернила: я засъль за разсказъ!

Я писалъ и непостижимой загадкой было для меня: какъ возможенъ такой подъемъ при моемъ состояни здоровья?

Коченъди отъ в тода руки—отогръваль ихъ на лампъ; обезображенная ревматизмомъ правая рука неновиновалась перу, ныла каждымъ сочлененіемъ—свиръпо насиловалъ ее, чтобы выводила болье четкій линіи письма.

Я работать по 10-12 часовь въ сутки, —спину разломить, боль въ плечахъ до невольныхъ при движеніи стойовъ, —но все это для меня было какъ что-то такое, что не со мной, а съ къмъ то другимъ, а у меня —дни летятъ, летятъ дин, полные свътлыхъ и радостныхъ мгновепій.

Разсказъ у меня занялъ около двухъ недъль. Счастливое, незабвенное время, которато больше не переживешь: я творилъ съ не отравлений душой, я творилъ безъ яда сомивний!

Отослалъ разсказъ въ «Ниву». Не было до этого въ моей жизни ничего, чтобы я вв рялъ человъку съ такой върой въ его благородство.

Частицу своей души я отосладь и въриль, что «тамъ» понимають, съ чъмъ они имъють дъло.

Черезъ мъсяцъ и получилъ отвътъ: «Къ крайнему сожалънію редакціи, вашъ разсказъ помъстить не можемъ».

— Почему «къ крайнему сожалѣню?»— это первое, что мнъ пришло въ голову.

Разсказъ былъ автобіографиченъ: вся мука человѣка моего положенія была въ немъ. Я не дерзаль надѣяться на обязательный пріемъ своей вещи—я ждалъ совѣта на свой вопросъ: писать мнѣ дальще или нѣтъ? И могь быть благодаренъ за слова:

— Продолжайте.

Или:

— Бросьте.

Отвѣты юмористическихъ журналовъ, гдѣ часто пошло изощряются въ остроуміи, и тѣ мнѣ казались осмысленнѣе.

Но вѣдь, это не юмористическій журналь? Мучить мучающагося человѣка загадками— къ лицу-ли серьезному журналу? Я долго думалъ надъ отвътомъ и ръшилъ, что разсказъ не читался. И на другой день я отправилъ его обратно въ «Ниву» со слегка склеенными углами первыхъ страницъ.

Черезъ двъ недъли я получилъ его, — съ знакомымъ уже отвътомъ: «Къ крайнему сожалънію редакціи, вашъ разсказъ помъстить не можемъ».

Провъриль склейку страницъ: ни одна не тронута! Какая безсовъстная игра словами! Въдь, только люди совершенно не уважающие слова, могутъ не читая вещи — писать: «Къ крайнему сожалънію». Я растопиль печь, бросиль въ нее свой разсказъ и, наблюдая, какъ огонь медленно пожираль страницы тетради, переживалъ мучительное чувство: мнъ казалось, что если бы послъ этого я увилъль свое первое произведение въ печати, я не испыталъ бы того упоенія, какое должно испытать при мысли, что написанное тобой читается десятками тысячь людей.

Горъла частица моей души и негодовала душа моя:

- Не можете такъ поступать! Лжете вы, говоря, что искусство для васъ свято, если для васъ не святъ творецъ искусства. Дойти до того, чтобы забыть о томъ, что не камни вамъ шлются, значить вынимать душу изъ искусства. Святымъ мъстомъ и дъломъ не всякій жрецъ освящаетъ себя и въ почетныя тоги руководи-

телей общественной мысли облекаетесь не по заслугамъ. Не можете такъ поступать! *).

Когда отъ разсказа остались тонкіе, дрожащіе, точно въ агоніи, листки пепла—я даль себѣ слово больше не писать.

— До чего доходить виртуозность въ пренебреженіи къ челов'яку. Не честн'я вели предложеніе подавляеть спросъ—заявлять о томъ, чтобы авторы присылками рукописей не трудились, что т тышить «крайними сожальніями»?

Недъли на двъ я въъхалъ въ апатію. Сестра приносила книги, журналы—не читалъ.

Стояла четвертая недъля великаго поста. Быль праздничный день. На душъ было исключительно скверно—и хмуро я пожаловался сестръ:

— Чортъ знаетъ... живешь, какъ въ тюрьмѣ. Свъта невидишь.

Сестра молча посмотрѣла на окна, вышла изъ избы, вернулась минутъ черезъ пять и сказала;

— Чтожъ раньше молчалъ? Разъ безпокоитъ давно бы квартирантъ Федорычъ отгребъ снъть.

Явился въ саду Федорычъ и началъ работать. Окна были завалены почти доверху. И когда Федорычъ отбросиль оть нихъ снѣгъ меня захватила волна восторга: снѣгъ въ саду побурѣлъ, тяжело осаживался, на деревьяхъ блестѣли капельки воды, по сучьямъ бѣсновались воробын, весь садъ былъ ярко задитъ солнечнымъ свѣтомъ. Жизнью пахнуло на меня такъ, точно я десятки лѣтъ былъ заточенъ въ четырехъ стѣнахъ; съ великой радостью я почувствовалъ, что все мое одряхлѣніе только виѣшнѣе, временное—отъ недуга и обстановки; остро я понялъ, что я къ 24 годамъ въ сущности очень юнъ, молодъ, не изжитъ.

— Ганя, Ганя, —кричалъ я: —Смотри: Солнце! Солнце! Понимаешь ты... Боже мой—Солнце! а? Сестра, придавленная суровой жизнью, мыслями о темной одинокой старости, посмотръла на меня съ недоумъніемъ:

- Чтожъ, солнце? Впервые его что-ль видищь? Такой вопросъ засталъ меня врасплохъ и я не зналъ, что мнѣ отвътить. Да и думать надъ отвътомъ не хотълось—блаженно лепеталъ:
- Ну, да конечно... Нътъ, конечно, видълъи раньше, но, теперь оно какое то особенное.
- Какое «особенное»? Какъ всегда.
- Ну, иътъ! Вотъ и Федорычъ...

Я жадно смотрълъ на Федорыча и восхищался.

Ражій, сорокальтній мужикъ, съ краснымъ, какъ кумачъ, лицомъ, онъ быль воплощениемъ здоровья и силы: выръзывая лоцатой тяжелые

^{*)} Въ данномъ случать по отношенію къ "Нивъ", я былъ не правъ: рукопись моя, какъ первые опыты, была, конечно, негодна. Но, далеко нелестныхъ словъ для редакцій я всетаки не беру назадъ, ибо и къ "годнымъ" рукописямъ редакціи относятся не лучіпе,

квадраты снъга, онъ откидываль ихъ сажени за три-къ забору, какъ мячики.

— Ганя, какой онъ сильный! а? Такіе куски и такъ легко?!

Улыбаясь, сестра припомнила:

— Что Федорычъ, — развѣ бы у тебя такая сила была въ его лѣта, если бы не болѣзнь? Помню: ты въ 14 лѣтъ такъ снѣгъ чистилъ, какъ Федорычъ.

Слова сестры какъ то прошли мимо моего сознанія, но ея улыбка, улыбка состраданія и жалости больно ръзанула меня: сразу улетучилось мое восторженное состояніе, вдругъ я почувствовалъ всю свою слабость, внезапно заныло болью все тъло.

Съ трудомъ я добрался до постели, легъ къ стънъ лицомъ, закрылъ глаза: хотълось подольше сохранить иллюзію восторга.

— Но свътило солнце, стояль сильный Федорычъ— но все это такъ далеко-далеко и не для меня: для меня близко, подощло вплотную и съ болью глубоко впилось въ меня—улыбка сестры.

Точно мић заживо пћли отходную.

Хотьлось крикнуть:

— Пожалуйста, никогда такъ не улыбайся.

Иотомъ я задремалъ и, когда очнулся — сестра уже куда то ушла.

Но солнце, и Федорычъ съ этого дня вошли въ мою жизнь, какъ нѣчто неотъемлемое, какъ живые протесты противъ моего медленнаго умиранія.

Стоитъ только закрыть глаза и вижу чудесное свътило, ражаго мужика, и твержу себъ:

— Въ самомъ дѣлѣ, чтожъ я: одна неудача— и уже руки опустились. Развѣ это характеръ? Что за безволіе? Надо пытаться еще. Отъ смерти не уйдешь, но и спѣшить къ ней не слѣдъ.

И иногда размышленія о смерти при мысли, что есть солнце и такіе прекрасные мужики, какъ Федорычъ, прерывались у меня смѣхомъ: я смѣялся надъ перспективой умереть въ 24 года, когда существуютъ такіе ликующіе символы жизни, какъ солнце и Федорычъ.

Иногда спохватывался:

— Куда ужъ? Ерунда. Всѣ они тамъ, вѣроятно вродѣ «Нивы».

Да не надолго. Въ избенкъ уже посвътльло; не видишь своего лица, а чувствуещь, что оно преобразилось; впадешь въ тихое раздумье и кажется, что кто-то невидимый, безъ границъ добрый и чуткій грустно и ласково манитъ къ себъ, открываетъ даль прекрасную, гдъ всему, чъмъ больна душа твоя, грезится покой забвенія.

И самъ незамѣтишь, какъ сползешь съ постели, сядешь за столъ—и пишешь до тѣхъ поръ, пока... не явится демонъ «Крайнихъ сожалѣній!» Онъ меня ссорилъ съ Вдохновеніемъ. Стоило явиться ему—я бросалъ перо, прочитывалъ изъ написаннаго нѣсколько строкъ— Боже мой: блѣдно, блѣдно до отвращенія, безсодержательно до острой ненависти къ себѣ!

22

Чувствоваль, какъ я опускаюсь, дълаюсь такимъ маленькимъ и ничтожнымъ—кажется, если кто нибудь сейчасъ войдеть въ мою избенку, я ему покажусь жалкимъ до слезъ. Потомъ отрывался отъ стола и ташилея къ постели.

Въ это время я уже не зябъ и моя обычиая одежда — былъ бълый халатъ. Онъ болгался на мнъ, какъ на палкъ, — до такой степени мнъ казалось, — и это вызывало у меня приливъ ярости.

Я брезгливо въ это время ненавидълъ себя; свое тъло, а особенио ноги: хотълось бить ихъ кулаками за то, что они у меня высохли, за то, что колъна безобразно изуродованы ревматизмомъ.

И ложился на постель со словами:

— Эхъ ты... горе писатель! *)

И еще двѣ попытки: написалъ два разсказа и посылалъ въ «Русское Богатство» и «Журналъ лля всѣхъ».

Въ объ редакціи писаль одно и тоже: «Посылаю разсказъ только для того, чтобы имѣть отъ компетентнаго лица совѣть: продолжать писать мнѣ или нѣтъ? Нужно щадить человѣка тамъ, гдѣ это цѣлесообразно. Если моя вещъ заслуживаеть рѣзкаго отзыва — не стѣсняйтесь: за это я могу быть только благодаренъ. Мить нужна увъренность, что я пищу не безполезно, или сознаніе, что моя работа—работа Сизифа».

Отвѣты изъ обоихъ журналовъ получились лаконическіе: «Ваша вещь не подходить».

Я недоум валь: что же тамъ за люди?

Кажется ясно, какъ дважды два, чего я прошу.

Я мучился. Съ жадностью накинулся на литературу, изъ которой можно было бы уяснить себъ, что же такое въ сущности литературный міръ?

Я слъно върилъ печатному слову и до этого—все, что мнъ попадалось въ это время,—все убъждало меня, что печатное слово для тъхъ, кто пишетъ, «Святая-святыхъ» **)

Да и не можетъ быть иначе: вѣдь, какая великая отвѣтственность?!

Я жадно читаль и думаль, что Душа Искусства не можеть, какъ Христосъ, потерпъть въ храмъ торгашей и фарисеевъ.

Я вполнѣ повѣрилъ священнику Г. Петрову, что «братья - писатели — это люди отмѣченные перстомъ Божьимъ».

Братья—писатели... Боже мой, какой предста-

^{*)} Такъ, въроятно, только въ одной Россіи платятся за свои первые, неувъренные шаги. Ни гдъ такъ человъчно не умъютъ поддержать, какъ у насъ.

^{**)} Если бы тогда ми'в кто нибудь сказаль, что въ литературъ не малое болото грубой лести, подхалимства, взаимной рекламы друзей-пріятелей—я отъ такого челов'вка отвернулся бы съ презр'вніємъ. Писатель, журналисть—это для меня были синонимы уважающаго себя благородства.

влялся чудный міръ: писатель — это огромное милосердіе, это великая чуткость, — явись къ нему, взглянеть на тебя и вся твоя душа будеть у него на виду, какъ на ладони.

Я вздыхалъ: да, только тамъ, въ мірѣ этихъ людей; жизнь, ничѣмъ не загаженная низменнымъ, настоящая жизнь!

Все чаще и настойчивъе преслъдовала мыслы: надо отнестись къ какому нибудь крупному писателю—онъ ръшитъ мою судьбу.

Но къ кому? Мечталось о Горькомъ: родной писатель! Но не зналъ, куда ему написать.

Къ Толстому? Страшно: какъ ни добръ казался по своимъ произведеніямъ — а «графъ» пугалъ.

Случайность решила, что прежде обратился къ Толстому.

Не помню имени мыслеблуда, который довель до всеобщаго свъдънія, что Толстой до того «великій гуманистъ»—шадитъ даже мышей.

— «Левъ Николаевичъ работаетъ. Съ нимъ его секретарь, Гусевъ. Разставлены мышеловки. Хлопъ! Хлопъ! — Сколько, — спрашиваетъ Толстой.—Теперь ужъ набралось къ десятку,—отвъчаетъ Гусевъ.—Чья очередь?—Ваша».

Толстой бросаеть работу, одъвается, забираеть мышей и несеть ихъ въ лѣсъ: гуляйте, молъ, тутъ, милые!

А лѣсъ не близко: до него восемь версть; иногда приходится относить въ зимнее время по ночамъ.

Прочиталь я все это—и какътуть не ръшить: пошлю ему?!

Дабы не отнимать много времени у великаго писателя, я ему послаль два очень маленькихъ разсказа; въ письмѣ я обрисовалъ свое горькое положеніе и заключилъ его: «Къ моимъ физическимъ мукамъ прибавились душевныя: я закваченъ силой, съ которой не въ состояніи бороться. Я мучаю себя, можеть быть, совершенно безплодно и очень прошу: просмотрите мои разсказы и, будьте добры, отвѣтить двумя словами: «Брось писать» или «Пиши еще».

Мнѣ отвѣтили черезъ нѣсколько дней.

«Мой отецъ, Левъ Николаевичъ, извиняется, что за недостаткомъ времени не можетъ исполнить Вашей просьбы. Готовая къ услугамъ Татьяна Сухотина».

Это меня, ошеломило до того: я запилъ.

Сидѣлъ въ своей избенкѣ за бутылкой водки и спрашивалъ себя:

— Человъкъ и мыши? Какъ совмъстить? а? На мышей есть время, на человъка нътъ?

А на слѣдующій день у меня, конечно, болѣла голова и ревматизмъ показалъ себя съ удвоенной силой.

Въ подавленномъ состояния я написалъ Толстому письмо. Говорилъ, что очень сожалѣю, что у него не оказалось времени на просмотръ моихъ вещей, а въ заключение спрашивалъ: беру человъка, для котораго возможна еще жизнъ, воэможень трудь, но нъть собственных в средствъ подняться къ этому — долженъ-ли такой человъкъ безропотно умирать или вправъ надъяться на помощь людей? *)

До такой степени я вдругъ утратилъ увъренность въ неотъемлимости у человъка права на его существованіе!

Послалъ я съ чувствомъ: отвъта не жди.

Върно: отвъта я не получилъ, но прождалъ его около мъсяца. Ежедневно я говорилъ себъ: запей горькую, безплодно ожидаешь.

И ежедневно переживаль жуть, въ которую боялся заглядывать.

Коломъ въ головъ стояли вопросы:

— Развъ я прошу чего нибудь особеннаго: Не многаго прошу, — а не могъ добиться ни отъ редакцій, ни отъ прославленнаго писателя. Глъ же проповъдуемая любовь къ ближнему?

Во мив протестовала какая то великая правда живою существа, въ которую я боялся вдумываться, уяснять себв ее: чувствоваль я, что если ношатнется эта правда—жизнь моя и жизнь вообще безо этой правды будет ужасающей безсмыслицей.

Безъ этой правды не къ чему жить и не станешь жить

И мое страстное ожидание письма отъ Тол-

стого, то во что я не върилъ, но что ждалъ и говорилъ себъ: «Не надо дурно думать о человъкъ, пока въ этомъ вполить не убъжденъ»— было смутно связано съ этой правдой. Мить казалось, что я, можетъ быть, такой дикарь, который не знаетъ какого-то важнаго соціальнаго закона. И напиши на мой вопросъ мить Толстой, что «такой человъкъ не въ правъ разсчитывать на помощь»—до такой степени была велика моя подавленность, что я ему повърилъ бы безусловно. Толстой промолчалъ. Заданный ему вопросъ мить пришлось ръщать самому.

Я его ръшиль: запилъ!

То, что обострялся ревматизмъ и усиливались боли, стало для меня второстепеннымъ. Главное—чаще и больше нужно пить. Ограниченныя собственныя средства удовлетворенія не давали и я сталъ искать собутыльниковъ. Въ этомъ недостатка не было. Я шелъ по линіи наименьшаго сопротивленія—легче было убивать себя физически, а когда появлялся протестъ иравственнаго Я, что становилось все рѣже и рѣже, я запирался въ своей избенкѣ съ бутылкой водки.

— Куда л'єзть? И зач'ємъ? Ты пытался просить—пичего; попробуй кричать — будетъ тоже самое. Никто не пойметъ. Никто не услышитъ. Все, что сказано прекраснаго въ мір'є за челов'єка—ложь, самоукрашеніе. Что ты—не вид'єль жизнь? Если все еще продолжаль обманываться на другихъ, разуб'єди себя на себ'є. Фактъ для

^{*)} Теперь, когда Левъ Николаевичъ однимъ ръшительнымъ, великимъ шагомъ завершилъ свое ученіе—съ радостью беру всъ заднія мысли относительно его обратно.

тебя только тотъ, что весь міръ для тебя въ твоихъ четырехъ ствиахъ, а остальное - міръ прекрасныхъ иллюзій. Обжегся на этихъ иллюзіяхъ, значитъ, молчи! Оселъ! Надо понять, если Евангеліе не перевернуло жизни, кто можеть перевернуть? Почти двъ тысячи лътъ пережевывають на всв лады его истины. На учени Великаго Учителя ростуть, какъ грибы, учителя жизни, но отъ житницъ своихъ 'не откажутся: усердно съють и жнуть на нивъ Великаго ученія. Осель! Прими за истину, что вст истины для тебя — небесные звуки, свътлыя фикціи. Молчи, какъ молчатъ твои неизбъжныя, безгласныя спутницы-тоска и муки. Молчи и ни куда не льзь, когда понимаещь такія чудовищныя противоръчія. Если ты попадешь въ тюрьму, какъ политическій д'ятель, — за тебя общественный протесть: «Насъ возвышающій обмань!..» Люди вообще протестуютъ противъ того, противъ чего безсильны, гдѣ не могутъ помочь. Любятъ въ протестъ звукъ, ибо онъ ничего не стоитъ. Но, если у тебя тюрьма духа и тыла въ твоихъ четырехъ стънахъ-протестуй самъ и никто не услышить. Тебъ позволять... свободно позвовять умирать! Молчи и никуда не възь...

Теперь не передашь всей горечи, что приходила въ голову тогда.

Я пиль и пьянъя,—тупъль. Бутылка мнъ начинала казаться,— мудрымъ блескомъ свътится стекло и ходъ монхъ мыслей въдомъ ему, — но такъ оно спокойно, такъ безстрастно, точно ему это давно все извъстно, надоъло.

Мив казалось это немного обидно, но добродушно я говорилъ:

— Понимаю тебя, посудина. Въ этомъ родъ для тебя ничего не ново. Все слышала милліоны разъ!

И бутылка такъ ласково, покорно и многозначительно поглядывала на меня, точно отвъчала:

— Что зря болгаешь? Кром'в скуки отъ этого ничего. Пей и все тутъ.

До дна я бутылки никогда осилить не могъ. Въ блаженномъ состоянии забвенія и физическаго недуга и замирающей мысли, я долго слипающимися глазами смотрѣлъ на дно бутылки и, упиваясь тѣмъ, что проснусь когда—есть еще что выпить, бесѣдовалъ съ бутылкой.

Посижу, подумаю—чѣмъ то смутнымъ, далекимъ, и до смѣшного скучнымъ кажется собственная жизнь, и жизнь вообще—дотронусь до бутылки и говорю:

— Что видишь, что слышишь - хранишь, какъ могила. Это хорошо.

Почему «хорошо»—думаю надъ этимъ упорно, но опьянъвшему сознанію это не подъ силу: кажется, что въ этомъ необыкновенная глубина.

И, какъ добираюсь до постели—этого послев не помнилъ Быстро потекли дни, недъли и мъсяца.

И не время уже властвовало надо мной, а я надъ временемъ. Съ гордымъ элорадствомъ я смъялся надъ силой времени:

— Ты для меня остановилось. Ты сметешь меня съ лица земли, какъ сметаещь все и всъхъ— но ты для меня остановилось.

То, что дни мои идуть безь смысла, то что мнь время не дорого, то, что мнь не зачымь заглядывать впередъ—все это создавало мнь понятие абсолютно свободнаго оть всего человыка.

Иногда я съ утра до ночи бродилъ но зна-

И всюду жалобы на время:

Однихъ давитъ скукой, однообразіемъ, тѣмъ, что жизнь не такъ сложилась, какъ хотълось; у другихъ все что-то не додълано, недостигнуто, «а время мчится»; третьи и на скуку не жаловались, и достигать ничего не хотъли—жили и трепетали, что за спиной времени идетъ и прячется смерть.

— Какъ страшно: день прожить—къ смерти ближе; какъ глупо: живешь и не знаешь, когда и отчего умрешь,—особенно часто жаловалась мнъ одна дама.

Я наблюдалъ всъхъ этихъ рабовъ времени, думалъ, кто въ мірѣ не рабъ его, и сознаніе, что я освобождаюсь отъ его власти, было миъ пріятно.

Пришла мн'в въ голову однажды мысль, что

н по знакомымъ я таскаюсь и пью затъмъ, чтобы обмануть себя:

 Попробуй-ка опять побыть одинъ и безъ бутылки—время покажетъ себя.

Я засълъ недъли на три дома и не пилъ.

Было уже трудно, водка становилась потребностью организма, но я выдержаль.

Пусто и холодно было на душѣ. Одиночество не томило, а то, что не ждешь и не хочешь отъ жизни ничего, создавало ощущение необычайной легкости.

Вырабатывалась философія отрицанія жизни. Я все ставиль подь угломь, что если не можешь жить сл'єпо, то какое бы завидное положеніе въ жизни не им'єль, ты все таки очень дорого заплатншь за свою жизнь.

Если ты не безъ совъсти, если чувствуень, что право на жизнь другого нужно уважать не меньше, чъмъ свое—отравятся радости твои внутреннимъ зръніемъ твоимъ,

Я видълъ въ жизни, что она не что иное, какъ подвигъ, и спрашивалъ себя: во имя чего мнъ его принимать?

И отвъта не было. Ибо пошатнулась во мнъ великая правда живою существа *) и разумъ пересталъ върить въ цълесообразность прекраснато: съ холоднымъ злорадствомъ онъ разбивалъ старыя цънности и торжествовалъ, что на мъ-

^{*)} Поэже, когда я вполнъ уяснилъ себъ эту правдуне могу не крикнуть: духа не уганайте!

стъ былыхъ (и ложныхъ самообмановъ и самоукрашеній вопаряется гордая, неуязвимая иронія надъ жизнью всего существующаго.

Когда меня спрашивали, какъ я живу, что переживаю отъ наличности хроническаго недуга—я усмъхался:

— Живу. А переживать, пожалуй, ничего не переживаю.

Не можеть быть. Въ такія молодыя лѣта ѝ такъ страдать... Неужели не думаете, какъ отъ болѣзни избавиться.

— Не думаю.

Мнѣ не върили. А я не договаривалъ, что живу, пока не захочу умереть.

Была спокойная, возвышающая себя радость въ томъ, что все мое я— въ моемъ я. Внутреннее самоотречение достигло высоты, что въ каждый моментъ я совершенно спокойно могъ рѣшить свое «не быть», но отъ этого удерживало острое и темное любопытство: чудилось, что такое неестественное для живого существа безразличие къ жизни и ея законамъ таитъ за собою какую-то страшную пустоту.

И жилъ я только ради этого любопытства.

И вдругъ—ръзкая перемъна. Я столкнулся съ дъвушкой, которая дала мнъ понять, что моя сила не сила: отрицаніе жизни—безсиліе. Что побъда человъка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи. Я понялъ и вновь повърилъ въ старыя цънности свято и наивно, какъ ребенокъ.

Бросилъ пить и усердно принялся писать, не посылая своихъ вещей въ редакціи: не думалъ ужъ отъ нихъ получить того, что мнъ было нужно.

Я писалъ, а надо мной глумились. «Навъщали» братья.

Одинъ смотрѣлъ, если заставалъ меня за писаніемъ, на мои рукописи и злорадно говорилъ:

— Все еще пишешь? Деньги на бумагу переводишь? Умень очень! Люди съ образованіемъ за 25 рублей въ мѣсяцъ служатъ, Христа ради просятся, — а писать не лѣзутъ. Кнутъ бы на тебя, чортъ тебя возьми, хорошій! — Что тебѣ? Живешь, жрешь готовый хлѣбъ. Работать надо. Тогда дурь въ голову не полѣзетъ.

Онъ видълъ мои обезображенныя ревматизмомъ руки и ноги, всю безпомощность въ передвиженіяхъ—и не върилъ въ то, что я не могу работать:

— Притворяется. Лѣнтяй—и больше ничего. Ходить не можетъ? Вретъ! Ожечь хорошенько кнутомъ: всю боль забудетъ, побѣжитъ, сволочь хромая!

Другой «братецъ» вѣрилъ, что я дѣйствительно боленъ и убѣждалъ:

— Что ты здѣсь лежишь? Шелъ бы ты въ богадѣльню. Кромѣ, какъ на казенный хлѣбъ, никуда не годишься.

Я въ богадъльню идти не желалъ. Тогда они однажды вмъсто меня получили съ квартиран-

товъ деньги и вернули мнѣ ихъ, когда я имъ пригрозилъ судомъ. Довести до суда то, что брата-калѣку хотятъ вышвырнуть на улицу, они бы не постѣснялись. Они посовѣтовались съ компетентными людьми и, когда имъ сказали, что при наличности семи наслѣдниковъ на домъ, на всѣ квартирныя деньги они не имѣютъ права, что каждые изъ нихъ можетъ получить на свою долю только і рубль 71 коп.,—изъ за такой суммы они рѣшили скандала не поднимать.

Одинъ, впрочемъ, тотъ который не переваривалъ мысли о моемъ писательствъ, не прочьбылъ и отъ этихъ денегъ.

— Съ какой стати онъ будетъ жрать мою долю? Рубль, семьдесять одна копъйка тоже не щепки. Даромъ мнъ ихъ никто не дастъ.

Другой убѣдилъ:

— Пусть его. Какъ то неловко. Самъ посуди: мы съ тобой люди здоровые, зарабатываемъ больше ста рублей въ мѣсяцъ. Не стоитъ судиться. Какъ ни какъ, а все таки братъ, не чужой. Отъ мирового и то будетъ совъстно, и скандалъ на весь городъ. Не стоитъ.

Они до суда не довели, но и примириться съ тъмъ, что я буду пользоваться квартирными деньгами—не могли.

То по одиночкъ, то оба вмъстъ приходили и, то мягко убъждали:

— Продадимъ домъ? а? Что ты такъ лежишь? Тогда у тебя будутъ деньги полѣчиться. Выле-

чишься работать будешь, челов комъ опять станешь.

То грозили;

— А, не соглашаешься? Смотри: выкинемъ изъ дому и больше ничего. Домъ ремонта требуетъ, а ты его прожираешь. Что же мы получимъ съ него, когда онъ совсъмъ развалится?

Когда я скитался по городамъ и весямъ Руси—деньги они получали, но ремонта не дълали.

Они, наконецъ, объщали:

— На насъ говоришь, что мы негодяи— самъ, негодяй. Чего упираешься? Продадимъ домъ— получай свою долю, мы тебѣ по сотнѣ дадимъ: на, лечись! Будь человѣкомъ и къ тебѣ по человѣчески отнесутся.

Я смѣялся;

— Сотенъ отъ васъ не хочу: плакать о нихъ будете. Дайте мнъ лучше сейчасъ по рублю.

По рублю они не давали, а непремънно хотьли дать по сотнъ... когда будетъ проданъ домъ!

Потомъ и о «сотняхъ» замолчали, когда я предложилъ подтвердить документами, что съ доли каждаго изъ этихъ «братьевъ» я могу получить по сто рублей, но съ продажей дома не отставали.

Я не соглашался—они приходили въ ярость. Пошлость нагло торжествовала подъ моею безпомощностью.

 Мы дураки,—а ты уменъ. Мы тысячи сумъли нажить и еще наживемъ, а ты что нажилъ? Добродяжился по бѣлу свѣту то, а теперь издыхай. *)

Другой быль болье радикалень. Онь совершенно не уясняль себь, что такое «соціалисть» и всякаго человька чуточку выше его сознанія, или не соглашающагося съ его человьконенавистническими взглядами на жизнь, причисляль къ сонму соціалистовь.

Я быль у него тоже въ числъ таковыхъ. Съ дикой злобой онъ мнъ преподносилъ:

— Издыхай. Издыхай! Не помогать такимъ надо, а въшать!

Приводило его въ ярость такъ же и то, что я у него никогда ничего не просилъ.

 — Гордъ, сволочь? Брату не хочешь поклониться?

Я говорилъ, что глупо кланятся тому, кто все равно ничего не дастъ.

— Это вѣрно: собакѣ выброшу, а тебѣ не дамъ. Но врешь! придешь, калѣка, когда нибудь и поклонишься. На колѣняхъ будешь ползать. Врешь, когда нибудь, и придешь, явишься. А тогда то ужъ я тебѣ покажу!..

Этотъ «братъ» былъ не прочь бы со мной

расправится кулаками, если бы его не удерживало боязнь во мнѣ «соціалиста». Оба они въ сущности боялись меня, какъ человѣка, которому ничего не стоитъ разрушить ихъ благополучіе, ввергнуть ихъ въ пучину несчастій.

— Ему что—ему нечего терять. Ему ничего не стоить подстроить такъ, что вмѣстѣ съ нимъ въ тюрьмѣ очутишься.

Я писалъ, я бросилъ пить, но все болѣе и болѣе становился невыносимъ окружающій меня ужасъ.

И, наконецъ, я не выдержалъ: я прочелъ въ газетахъ, что М. Горькій въ Нижнемъ и согласился продать домъ. Его продали дешевле, чѣмъ онъ стоилъ: торопились братья продать изъбоязни, какъ бы я не раздумалъ продавать.

Бхалъ я въ Нижній съ деньгами, на которые можно прожить не болѣе трехъ мѣсяцевъ; ѣхалъ съ тяжестью, что теперь нѣтъ уже угла, куда бы въ случаѣ неудачи у Горькаго, можно было вернутся доживать свой вѣкъ; ѣхалъ съ великими надеждами:

— Нѣтъ, если у меня окажется дарованіе, Горькій поддержить! Такой человѣкъ!.. Онъ искалъ проститутку, чтобы спасти ее *). Не можетъ онъ забыть свою жизнь; не можетъ забыть, что самого его поддержалъ Короленко.

Я ѣхалъ въ Нижній.

Бхалъ съ такими великими надеждами и лю-

^{*)} И этотъ же самый братъ на праздники и на свои имянины, или на имянины жены, старался затащить меня къ себъ: чтобъ я развлекъ его гостей, какъ умный человъкъ. Любителей поболтать такъ и интриговалъ: «Это что? Поговорите-ка съ моимъ братомъ! Умная голова, да жаль: больной».

^{*)} Разсказъ Горькаго «Однажды осенью».

бовью къ человѣку, котораго зналъ только еще, какъ писателя, составилъ себѣ представленіе о его личности по его книгамъ и, если бы въ это время мнѣ кто нибудь сказалъ: «Горькаго нѣтъ, Горькій скоропостижно умеръ»—я не могу представить себѣ, какъ бы это на мнѣ отразилось.

Онъ былъ единственнымъ человъкомъ, на котораго я возлагалъ надежды на свое спасеніе.

Братья-писатели, въ нашей судьбъ, Что-то лежитъ роковое...

Некрасовъ.

По прітвядть въ Нижній, я остановился въ гостинницть и далъ себть два дня отдыхъ

Тихо и бездумно было на душѣ: испытывалъ огромное облегченіе, что та жизнь, которую я два года провлачилъ на родинѣ—уже оставлена позади и не повторится.

О томъ, что впереди—тоже не загадывалъ. Найдетъ нужнымъ Горькій поддержать меня благо мнъ; нътъ,—значитъ,—надо умирать.

«Если убъдился, что ни къ какому дълу въ жизни сталъ непригоденъ—имъй мужество себя изъ жизни устранить».

И эта мысль была для меня такой аксіомой, надъ которой уже нечего задумываться.

На третій день я узналь въ одномъ книжномъ магазинъ адресъ Горькаго и отправился къ нему:

Путь быль не близкій, а я рышиль пойти пынкомъ.

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо—должно быть, не шибче черепахи. Обращалъ на себя своимъ шествіемъ вниманіе любопытныхъ. Это мнѣ было всегда непріятно: человѣка я въ этихъ взглядахъ не чувствовалъ, а тупое, эгоистичное животное, инстинктъ котораго трепещетъ только за себя: надо беречься, а не то и я отъ этого не застрахованъ.

Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ— сколько во взглядахъ такихъ животныхъ обоего пола я прочиталъ низменныхъ утвержденій, что я не ревматикъ, а венерикъ, какую бездну отвращенія и брезгливости я видѣлъ по своему адресу отъ изящныхъ господъ и нарядныхъ дамъ.

На меня дъйствовало не то, что меня клеймять не за совершонный гръхъ, а то, что во всъхъ этихъ взглядахъ зажигалось опасеніе, что надо быть поосторожнъе и считаться съ «мърами предупрежденій».

— Если бы вы были и правы, то все таки какое вы, негодяи, имъете право смотръть на меня такъ, если не нынче, такъ завтра вы имъете всъ шансы встать на положеніе, которое вы умъете такъ великольпно обдавать отвращеніемъ и брезгливостью? Какое право, я васъ спрашиваю?—такъ многихъ и многихъ меня порывало спросить въ началъ своей болъзни, потомъ такіе порывы улеглись—было только непріятно и

стыдно смотръть на тъхъ, кто смотритъ на меня.

И безусловно человъчнъе была послъдняя категорія—рабочіе, и вся масса пришлаго изъ деревни и служащаго при городъ мелкаго люда.

Откровенно бросали мнт прямо въ лицо:

- Вотъ это такъ-здорово доходился!
- Что голубчикъ, получилъ?
- Эхъ, милый, теперь-то думаю, понимаешь, какъ «за мигъ свиданья, терпѣть страданья?»

Много было въ такой откровенности добродушія и сочувствія, что вызывало у меня иногда благодарный смѣхъ, а то и словечко:

— Не ошибаешься.

40

Эти люди учитывали, что брезгать и презирать имъ не слѣдъ, когда съ ними можетъ быть тоже самое. Эти люди были умнѣе и человѣчнѣе изящныхъ господъ и дамъ!

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо были взгляды на меня, слышалисъ нъсколько разъ слова по моему адресу, но я отъ всего этого былъ очень далекъ.

Шелъ я къ большой душь и до мелкихъ-ли душь мнъ?

Шель и думаль, что повъдую ему недавно пережитый смрадь отрицанія жизни, что я скинуль со своей души эту страшную пелену—не видъть въ существованіи міра цълесообразности, что все мое Я теперь только въ томъ: слабъ и немощенъ я разумомъ, и свято увърую въ то,

что ты мнѣ скажешь большая душа, чему научишь! Жизнь я принялъ, какъ подвигъ добровольный и радостный, крестъ жизни въ жизни счастьемъ нахожу нести,—благослови, большая душа, на пути указанныя тобою.

На 26 году жизни я впервые шелъ на великую исповъдь — и жизнь для меня послъ этой исповъди или смерть, — все это я отдалъ во власть духовника, облеченнаго въ Ризу Писателя.

Но вотъ и конецъ. Дошелъ. Угловой домъ и при немъ такой садъ—я даже остановился: въ двухъ шагахъ отъ центра города и такое великольпіе. «Недурно Горькому творить въ такой обстановкъ».

У вороть дома стояль какой-то человъкъ на мой вопросъ, гдѣ квартира Горькаго, онъ указалъ мнѣ во дворъ на двухъ-этажынй флигель.

Отворила дверь горничная:

- Кого вамъ?
- Алексъя Максимовича.
- Его сейчасъ нѣтъ.
- А когда будетъ?
- Не знаю. Онъ теперь за-границей, а когда прівдеть—неизвъстно.

Горничная, сильно хлопнувъ передъ моимъ носомъ дверью, давно уже исчезла, а я все еще стоялъ на одномъ и томъ же мъстъ. Тупо уперся въ дощечку на двери: «Дома нътъ»— и стою.

Какъ отошелъ, очутился на извозчикъ, пріъхалъ въ гостиницу—все изъ памяти уплыло.

Въ корридоръ гостинницы поднесся слуга:

— Прикажете объдъ подать?

И попятился назадъ;

— Да вы совствить больны! Можеть быть, доктора позвать?

Я отклонилъ и объдъ и доктора:

 Ничего, пустяки. Нервы у меня пошаливаютъ. Полежу—и пройдетъ.

Легъ и пролежалъ весь день, всю ночь. Заснулъ только подъ утро. Слъдующій день у меня ушелъ на переъздъ изъ гостинницы въ комнату со столомъ: надо было экономить свой скудный денежный запасъ.

Двѣ недѣли я переживалъ состояніе растерянности. По цѣлымъ днямъ просиживалъ въгородскомъ саду, или на берегу Волги и думалъ:

— Какъ же мнъ теперь быть?

Погода стояла плохая, холодная, рѣдкій день обходился безъ дождя. Ревматизмъ мучилъ меня безъ передышки—былъ постояннымъ напоминаніемъ моей безпомощности.

Острую жуть я переживаль отъ мысли, что этотъ городъ, въроятно, будетъ для меня могилой.

Раздавленный неудачей, своимъ недугомъ, я глазами одинокаго затравленнаго существа смотрълъ на жизнь города—и ликъ этого огром-

наго чудовища вселяль въ меня то страхъ, то злобу.

Съ большой завистью я наблюдалъ надъ босяками—здоровеннъйшія, но оскотинъвшія отънаглости и лъни, люди.

— Идіоты! Такіе здоровые лодыри и идіоты! Я жадно выискиваль въ бесѣдахъ съ ними: гдѣ же тотъ высокій интеллектъ, тотъ свободолюбивый духъ, духъ бунтарей не принимающихъ существующаго, словомъ все то, что далъ въ своихъ босякахъ Горькій?

Лично я видълъ, что это въ большинствъ искусившіеся тунеядцы; многіе изъ нихъ любили «позы протеста»,—но жалки и лживы были въ моихъ глазахъ слова отброшенныхъ и отбросившихся отъ жизни людей, людей, которыхъ цълая армія!

И такъ, толкаясь по городу я однажды услышаль: «Къ ярмаркъ Горькій пріъдеть. Ярмарки не пропустить. А эту тъмъ паче: Шаляпинъ прибудеть!»

Я услышаль это на улиць, потомь дома отъ хозийки, потомъ отъ нъсколькихъ лицъ въ городскомъ салу,—начиналъ разговоръ съ чего нибудь отдаленнаго и сводилъ на одно:

— Ну, а ваша знаменитость—Горькій, на ярмаркъ бываетъ?

У всфхъ увфренность:

— Ярмарки не пропустить. Гдѣ бы не быль, а на ярмарку пріѣдеть. Я ожилъ. Ожилъ и безразсудно началъ тратить деньги: покупалъ книги.

Нельзя. Прівдеть Горькій—встрітимся, а я всіжь его сочиненій не читаль даже! Чего я знаю? Воть Леониль Андреевь, Чириковь, Купринь, Чеховь, все это товарищество «Знанія»—у меня ни объ одномъ опреділеннаго представленія о его физіономіи писателя! Надо больше читать. Надо хоть немного подготовиться.

Я подготовлялся: ускорялъ наступленіе еще болье горькихъ дней.

Я ожилъ, поднялся и передъ началомъ ярмарки вновь упалъ: справился уже въ домѣ Горькаго о его пріѣздѣ на ярмарку и получилъ отъ какой то дамы отвѣтъ, что въ этомъ году онъ наврядъ-ли будетъ въ Нижнемъ. Просилъ его адресъ и этого не дали:

— Сами не знаемъ.

Послъднія деньги были уже отданы хозяйкъ.

Отправился я въ редакцію одной газеты. И когда въ первый разъ въ своей жизни узрилъ редактора—внезапно смутился. Совалъ ему двъ тоненькія тетрадки, которыя мнѣ въ эти моменты показались жалкими до необычайности и краснѣя, и запинаясь просилъ:

— Просмотрите пожалуйста. И если подойдетъне откажите напечатать.

Отъ послѣдняго слова меня и въ жаръ и въ холодъ ударило: «Боже мой... напечатать?!.»

И глазами по сторонамъ покосилъ: вдругъ, кто нибудь услышитъ и... захохочетъ?!.

Привычнымъ, лѣниво-спокойнымъ и до оскорбленія небрежнымъ движеніемъ руки редакторъ взялъ мои тетради, раскрылъ одну изъ нихъ—зѣвнулъ и заявилъ;

— Почеркъ скверный. Трудно читать.

Я показалъ ему обезображенную ревматизмомъ руку:

— Не могу четко писать.

— А переписчики и пишущія машины на что?

— Простите, средствъ не имѣю. Положеніе мое...

Я хотъль разсказать этому человъку свое положеніе—но онъ вновь устало зъвнулъ и оборвалъ:

— Да собственно, и читать то безполезно: матеріалу у меня пропасть.

Я еще заикнулся:

— Нельзя-ли сдѣлать исключеніе... положеніе безвыходное...

У него уже зазвучали раздраженныя нотки:

— Не могу. Не просите.

У меня вспыхнулъ порывъ: врешь, не камень же ты, если совъсти твоей не коснусь, такъ можетъ быть, сознаніемъ чуточку учтешь, что передъ тобой не вещь, не дерево.

Но взглянулъ я на холодное, на смертельноскучающее и до безобразія уже жирѣющее липо редактора, взглянулъ на его крупно-сложенную фигуру, облеченную въ синюю косоворотку — взялъ свои тетради и тихо побрелъ къ выходу, думая:

- Не на своемъ мъстъ сидинъ и людей косовороткой обманываешь.

У выхода я обернулся. Редакторъ глядълъ на меня—на то, какъ я нелъпо двигаю больными ногами и, на губахъ у него играла презрительная усмъщка: «тоже, писатель... И какая только шваль въ редакцію не лъзетъ!»

Черезъ часъ я былъ въ редакціи другой газеты.

Тутъ ужъ я не краснѣлъ, не запинался — я былъ, вѣроятно, похожъ на ребенка, у котораго разбиваютъ нѣчто для него дорогое, когда жаловался и просилъ:

— Вотъ, я только сейчасъ изъ редакціи «Н. Л.»; знаете, это первая редакція, порогъ которой я переступиль—и я пораженъ... такое тамъ отношеніе... Даже не хотятъ смотрѣть. Можетъ быть, вы не откажете въ просмотрѣ?

Предо мной стоялъ франтоватый, выхоленный и юркій челов'текъ и улыбался:

- Будьте увърены: мы просмотримъ, мы не откажемъ.
- Спасибо. Вотъ мои вещи. Просмотрите и, если подходящи, будьте человъчны, не откажите помъстить у себя.

Человъчекъ улыбался.

— Не откажемъ, не откажемъ... Но... за плату?

Откровенно, довърчиво я смотрълъ этому человъку въ глаза, въ лицо; что то въ этомъ лицъ и во взглядъ уже остерегало меня, настораживало, чудилось что то безконечно далекое отъ тъхъ прекрасныхъ образовъ, которые запечатлълись во мнъ о служителяхъ печатнаго слова по книгамъ, *) но сразу не могъ сорваться съ приня таго тона:

— Да, хоть за маленькую. Я и такъ бы от даль, если бы... видите, я больной человъкъ, въ этомъ городъ совершенно одинокъ. Пріъхаль къ одному человъку, а его не оказалось. Черезъ недълю, черезъ двъ могу очутиться на улицъ.

И я даже улыбнулся:

- Вообще, положение хуже губернаторскаго. Зато человъчекъ пересталъ улыбаться:
- Не могу, матеріалу въ запасѣ много.

Я быль поражень: безъ платы не мѣшаеть, а за плату—такъ запасъ матеріала великъ! И это сейчасъ же, безъ всякихъ переходовъ? Такъ беззастѣнчиво, такъ глупо?! А человѣчекъ выкинулъ трюкъ еще лучше:

— Я вамъ дамъ совътъ: посылайте свои разсказы въ одну газету; тамъ не возьмутъ — въ другую; въ другой тоже—такъ въ третью, и т. д. Такимъ образомъ, гдъ нибудь да устроитесь.

^{*)} О такихъ милыхъ, чудесныхъ людяхъ я читалъ: «о восьмидесятникахъ»—и глупо думалъ, что уже кто-кто, а «семья служителей печатнаго слова» не идетъ назадъ: все впередъ и впередъ!

Такимъ трюкомъ я на минуту былъ уже совершенно ощеломленъ; тупо глядълъ на редактора-издателя и сомнъвался: я, можетъ быть, не такъ понялъ, можетъ быть, въ чемъ нибудь ослышался?

Потомъ опомнился. Голосъ у меня сталъ острозвенящимъ:

- Спасибо за совътъ. Но позвольте вамъ замътить, что въ устахъ редактора газеты такой совътъ кажется мнъ дикъ.
 - Почему?

Онъ удивился совершенно искренно!

- Объяснять-ли? Сами не понимаете?
- Ей-Богу, не понимаю!
- Вы слышали, что я говориль?
- Великолъпно.
- Такъ какъ же вы могли давать совътъ посылать куда-то человъку, который вамъ предварительно объяснилъ, что черезъ недълю-двъ у него не на что будетъ жить?

Онъ развелъ руками—съ такимъ изумительнымъ недоумѣніемъ, точно я высказалъ ему какой то верхъ нелѣпости. А потомъ пожалъ плечами.

— Мнъ какое дъло, что вамъ жить не на что. Я вамъ далъ совътъ, а остальное до меня не касается.

Я не далеко быль отъ состоянія, когда ьзбішенный человікъ плачеть, бьеть кулаками объ столь—но усиліемъ воли сдержался и сказаль: — Очень мило! Но я вамъ въ свою очередь тоже дамъ совътъ: бросьте со столбцовъ своей газеты въщать истины, бросьте до тъхъ поръ, пока не научитесь одной: понимать жажду человъка дышать, видъть, жить, сознавать себя живой, одухотворенной единицей!

Редакторъ опѣшилъ; онъ моргалъ глазами такъ... лучше нельзя было выразить дополненія къ его совѣту!

Очевидно, силился понять «истину».

Потомъ опомнился и тихо прошипълъ:

- Я позову наборщиковъ и прикажу имъ отправить васъ въ полицію.
 - Зовите! Отправляйте!

Онъ медлилъ. Я не боялся угрозы въ лицѣ наборщиковъ и полиціи, но побоялся приступа состоянія невмѣняемости: чтобы видѣлъ слезы твои такой человѣкъ?!

И огромнымъ напряжениемъ воли заставилъ себя выйти изъ редакции.

Миновалъ одинъ домъ и присълъ на скамью у воротъ.

Улица плыла, прохожіе казались точками, голова кружилась до тупой мути отчаянія отъ словъ:

— Будьте человъчны!.. Будьте человъчны!..

Стояль предо мной и неотступно смотръль мнѣ въ душу великій ужасъ земли, позорное самопроклятіе человѣчества: поруганное п раздапленное право человѣка на жизнь!

У сколькихъ оно вырвало и вырветь эти позорныя напоминанія: «Будьте человъчны?!»

Сколько сердецъ разметали и размечутъ бисера передъ свиньями: «Будьте человѣчны?!»

Послѣ этого прошла недѣля, а затѣмъ — я еще потерпѣлъ фіаско.

Сидълъ въ городскомъ саду и слышалъ, какъ два гимназиста горячо говорили объ отношеніяхъ писателя Ч. къ учащейся молодежи.

Очень ужъ чего нибудь утъшительнаго для себя я въ этихъ разговорахъ не видълъ; все сводилось къ тому, что тамъ то Ч. сказалъ то-то учащейся молодежи; въ другомъ мъстъ тоже «то-то» и т. д.

Я жадно слушаль: а не договорятся-ли до чего либо болье положительнаго для меня—до того, гдъ бы г. Ч. проявиль себя помимо «то-то» и на дълъ.

До этого не договорились. Но всетаки я узналъ отъ поклонниковъ Ч. его адресъ и въ этотъ же день снесъ ему два разсказа.

Дома его не оказалось, но прислуга успокоила меня тѣмъ, что по болѣзни матери, которая находится въ домѣ, онъ съ дачи навѣдывается часто.

— Черезъ день, черезъ два обязательно бываеть. Очень о больной матушкъ заботится.

При разсказахъ я приложилъ письмо, гдф то-

ворилъ и о своей болѣзни, и о полномъ неимѣніи средствъ къ жизни, и коротко заключилъ: «если найдете дароватіе, надѣюсь, окажете и поддержку».

Поддержить или бть—на этоть счеть не гадаль: закрываль глаза на грядущее. Жиль одной только увъренностью: прочтеть, а тамъ увидимъ, что будетъ.

Я жилъ увъренностью, но увы — очень не долго: на другой же день я получилъ свои разсказы, присланныя съ дворникомъ, и при нихъ письмо супруги писателя.

«Мой мужъ, уѣхалъ, въ Самару провожать своего брата на войну. Да и вообще, онъ рукописей не читаетъ. Это дъло редакцій».

Я прочелъ и задумался: невъденіе-ли туть, или безсердечіе?

Потомъ на минуту мелькнула злая мысль: «Чтобы вы запъли, сударыня, если бы очутились на моемъ мъстъ и узнали, какъ редакціи читаютъ рукописи?»

Затъмъ наступила апатія, безразличіе полное. Часовъ въ 7 вечера сынъ хозяйки потащилъ меня на берегъ Волги. Ъдемъ въ трамваѣ. На одной изъ остановокъ вошелъ въ вагонъ господинъ съ книгой въ рукахъ. Вощелъ и скромно усълся въ уголокъ. Сидитъ и глазъ не поднимаетъ, но лицо живетъ тонкой игрой.

— Знаете, кто это?—спрашиваеть меня сынъ хозяйки.

-- Кто?

— Это, — Ч. Писатель нашъ.

Гордо звучало это «нашъ».

— Вы ошибаетесь, — говорю я: — Я воть только сегодня утромъ получилъ письмо, гдъ миъ пишуть, что Ч. уъхалъ въ Самару.

— Ну, вотъ: еще бы ошибиться. Сколько лѣтъ

его знаю.

Можетъ быть, г. Ч. не быль виноватъ ни душой ни тъломъ: только что вернулся изъ Самары и не знаетъ, что ъдетъ въ вагонъ съ неулачникомъ, котораго бьютъ со всъхъ сторонъ.

Можето быть, но уже побитый такъ чувствительно на первыхъ же шагахъ двумя редакціями, я, естественно, склоненъ былъ думать, что меня обманули: почему мнъ прислуга не сказала, что онъ уъхалъ въ Самару?

У меня кружилась голова: «Да, я сейчась подойду и спрошу: вы давали своей супругъ право расписываться за васъ, что «вообще, вы рукописей не читаете?» Вы давали такое право или истъ?»

Я ожидаль остановки трамвая. Итти во время быстраго хода на своихъ ходуляхъ—это значило бы рисковать пошатнуться и новалиться на какого нибудь пассажира.

Вотъ и остановка. Я всталъ. Но что это? Пока я всталъ—Ч. уже вышелъ изъвагона и на моментъ остановился на тротуаръ, —посмотрълъ въ одну сторону, въ другую, точно раздумывалъ, куда ему илти. А пока я вышель—онь уже пошель. Минуты три я гнался за нимъ. Разъ даже окликнулъ: г. Ч......! Онъ не слышалъ и не инъ было угнаться за его быстрой, легкой походкой.

Вскоръ онъ скрылся въ переулокъ. Я постоялъ-постоялъ и отравился домой.

Дома часа три старался избавиться оть ивчто и не могъ. Лежалъ, то на спинв, то на бокахъ, то, наконецъ, внизъ лицомъ, но не при одномъ изъ этихъ положеній не могъ отрышиться отъ образа: все мив видвлось лицо писателя, которое въ вагонв разыгрывало симфонію эллегичной грусти.

И думалось:

— Скромница! Сидитъ и не смотритъ: ручки на книгъ сложены и глаза внизъ потуплены— барышня! Нечего смотръть, когда знаетъ, что всъ на него смотрятъ: «Нашъ писателъ»! Упивается, а эллегіей подчеркиваетъ: «смотрите, какъ мы недурны». Ахъ, жизнь-жизнь: какая ты необъятная, чудовищная сцена!

Не суждено мит было спать въ эту ночь.

Къ 12 часамъ я уже совсѣмъ расхлябился. Бѣдные, литературные генералы! Живутъ и не знаютъ, какъ имъ иногда попадаетъ отъ мелкихъ, литературныхъ сошекъ. Можетъ быть, г. Ч. въ исторіи со мной былъ чище агнца,—а я сѣлъ и закатилъ на бумагѣ такую истерику:

«Порываетъ дико выть, по звъриному, прок-

линать—я молчу. Мнъ кажется, что стоить дать вырваться изъ груди хоть одному звуку-вой и проклятья польются безъ удержу. Плакать? Не умъю-нътъ слезъ. Молиться? Кажется, что не имъещь въ себъ такой въры, когда бы молнтва не казалась ложью. О, этотъ виденный мной литературный генераль! Онъ первый изъ того невъдомаго мнъ міра и мое страстное стремленіе хоть сквозь строй идти въ этотъ невъдомый міръ, кажется мнь теперь смышнымь. Лживая мысль, неужели ты меня еще обманешь, какъ хочешъ обмануть сейчасъ, говоря, что по одному нельзя судить о всехъ. Ты лжешь: тотъ міръ, где есть одинъ недостойный, уже не святой міръ. Ты яжешь, говоря, что только литературный міръуголокъ, гдв можно дышать чистымъ, ничемъ неотравленнымъ воздухомъ! Душно: не хватаетъ благородства! Темно: меркнеть свъть. Больно, нбо было что то въ душт великое, а теперь оно медленно-медленно разлагается, уступая мъсто нустотъ. Мысль, ты лжешь-я съ ужасомъ чувствую, что когда это «что-то» разложится совсъмъ, въ душъ окажется безумная пустота, съ которой жить немыслимо, чудовищно. О, не уподобляйте всей благодати свътлаго Божьяго міра мерзости запустънія, гдъ одинокіе чувствують себя, точно человъкъ заблудившійся въ пусты-«Кионкокох и йонгон ан

А потомъ я читалъ разсказы Ч. и другихъ. И то, что своихъ положительныхъ героевъ ав-

торы такъ щедро надъляють великодушіемъ своего Я, успокоенія я искаль въ печатномъ слові н находиль только горечь.

— Боже мой, какъ они на бумагѣ чутки, предусмотрительны, справедливы, а въ жизни... Вы рукописей, вообще, нечитаете? да? Позвольте! Вы должны читать. Обязаны читать. Если вы рукописей не будете читать—всѣ ваши прекрасныя слова тусклы и противны, какъ стертыя, загаженныя монеты. Если вы человѣку навязываете сотни книжныхъ истинъ и не дадите ему одной—голодному хлѣба, утопающему его спасенія,—онъ вправѣ думать, что вы его обманули и унизили. Онъ вправѣ васъ спросить: вы что же—учите, или только еще учитесь? *)

Я читалъ всю ночь напролеть и бросилъ, когда наступающее утро горъло въ зенитъ своей красоты.

Я смотрѣль на розовѣющій воздухъ, на синѣющую даль: и словъ у этой дали не было, а звала къ чему то великому, прекрасному, какъ сама.

— Природа! Природа, когда челов вчество научится понимать твой языкъ?!

А въ намяти ворочалась «даль въ словахъ», даль изъ стертыхъ и загаженныхъ монетъ—то

^{*)} Проблема, которую нашъ литературный міръ, еще никогда, какъ слѣдуетъ не думалъ рѣшатъ. Горькій, когла то коснулся этого — но такъ: походилъ «вокругъ-да окодо» и забылъ.

туманная, наводящая на одно только заключеніе, что человъкъ и самъ то хорошо не видить того, о чемъ говоритъ, но хочетъ увърить другихъ, что это—красота, то жалко-безпомощная до того, куда и итти не стоитъ.

— А вѣдь, зовутъ. Зовутъ и нестѣсняются: Поднимите брошенные, затоптанные великіе завѣты Великаго Человѣка, ибо прекраснѣе Его вы ничего не сказали и не скажете; поднимите и примите ихъ полнотой совѣсти, цѣлиной души и, только съ ними идите въ даль, и только съ ними зовите за собой: безъ нихъ вы лжете и толчетесь на мѣстѣ!

... блаженъ, кто ищетъ человъка, нбо онъ узритъ... чело-въка нашего.

Я быль и раздавленъ, но «нѣчто» во мнъ все еще чего-то хотъло и толкало меня на новые сюрпризы.

Написалъ я одной поэтессъ, которая помъщала свои стихи въ «В.»

Писалъ и думалъ: можетъ быть, женщина окажется почеловъчнъе.

Просилъ, не можетъ-ли она, какъ нибудь вызволить меня изъ бъды. Поэтесса отозвалась.

Она писала мнѣ, что сама сдѣлать ничего не можетъ, но даетъ мнѣ совѣтъ сходить къ одному присяжному-повъренному, который, «какъчеловѣкъ—онъ очень добрый; другъ-пріятель съ

однимъ крупнымъ издателемъ въ Нижнемъ; благодаря огромной практикъ-богатъ; состоитъ сотрудникомъ мъстныхъ газетъ».

Въ заключение увфренность: онъ васъ изъ бъды выручитъ.

Милая женщина, не забывайте никогда, что мужчины «очень добры» только къ хорошенькимъ женщинамъ, да еще съ плюсомъ, что такая женщина—поэтесса!

Къ четыремъ часамъ этого же дня я отправился «къ доброму человъку»

Адвокать быль занять съ кліентомъ и мит пришлось долго ждать.

У него богатая пріемная. А я одіть быль далеко не богато, а посему «натасканная» прислуга предложила мні ожидать въ передней, гдів лаже не имівлось стула.

Переминаясь на больныхъ ногахъ я стоялъ, заглядывалъ въ роскошную обстановку пріемной и спрашивалъ себя: зачѣмъ я пришелъ сюда?

Какъ не соблазнительно былъ расписанъ поэтессой адвокатъ, но въ то, что онъ меня изъ бъды выручитъ, я не върилъ: послъ описанныхъ неудачь въ Нижнемъ у меня глубо засъло предчувствіе, что въ этомъ городъ я ни отъ кого помощи не получу.

Хотълось уйти—и не уходилъ. Потомъ понялъ. Глядълъ на обстановку и думалъ:

— Бейте, чортъ васъ возми. Вотъ я стою унижайте, а униженный посмотритъ: насколько вы упали и увидить насколько онъ поднялся самъ. Я подожду. Нужно убъдиться: оскотинълъли хваленый человъкъ отъ комфорта, или нътъ.

Наконецъ адвокатъ вышелъ и, проводивъ своего кліента, замѣтилъ меня:

- Чамъ могу служить?
- Я къ вамъ по дълу,—неопредъленно началъ я.

Онъ меня любезно оборвалъ:

- Пожалуйте въ кабинетъ.
- Я вамъ и здъсь поясню.
- Что вы? Развѣ эдѣсь мѣсто? Меня признаться, очень смутило, когда я засталь васъ ожидающимъ меня въ передней: для этого у меня пріемная. На этотъ счеть я прислугѣ сегодня же сдѣлаю внушеніе!.. Ну-съ, пожалуйте въ кабинетикъ: тамъ поуютнѣе.

Онъ меня мягко взяль подъ руку и повель. На ходу спрашиваль:

— Что у васъ съ ногами? Увъчье?

Меня кольнуло: воть она изъ какого источника любезность-то!

- Нътъ, хроническій ревматизмъ.
- Гмъ... Печально, очень печально для васъ. Кабинетикъ дъйствительно былъ очень уютенъ, но на кабинетъ дълового человъка походилъ мало: въ стремленіи ошаращить кліента обстановкой немного пересолили кабинетъ забили чрезмърнымъ количествомъ мебели и различныхъ бездълушекъ.

Молча я подаль адвокату письмо поэтессы.

Съ первыхъ же строкъ онъ улыбнулся, улыбнулся и я: должно быть поэтесся изъ «хорошенькихъ».

Онъ прочелъ и въ раздумьъ бросилъ:

— Такъ... Но объясните, пожалуйста, чѣмъ могу помочь вамъ?

Я поясниль и протянуль ему двф тонкихъ тетради.

— Чтожъ, давайте свои разсказы. Я посмотрю съ удовольствіемъ, а если для васъ что нибудь можно будеть сдѣлать—сдѣлаю съ превеликимъ удовольствіемъ!*) Зайдите ко мнѣ черезъ недѣльку; тамъ видно будетъ, какъ мнѣ съ вами быть.

Я поблагодариль за участіе и отправился домой. На другой день хозяйка напомнила миж о платежь за комнату и столь. Я попросиль обождать. Томительно тянулась недыля. Прошла. Пошель я къ адвокату въ скверивищемъ состояніи духа: думалась, что этого господина я больше не увижу, а получу черезъ прислугу письмо: «Помочь, моль, вамъ ничемъ не могу».

Такъ и вышло. Отворяя дверь, прислуга заявила:

- Барина дома нътъ.
- А когда онъ будеть?
- Не знаю. Онъ уфхалъ на дачу. А какъ ваша фамилія? Я назвалъ.

^{*)} Даже подчеркнулъ!

- Погодите. Тамъ вамъ что то есть.

Ушла, вернулась черезъ минуту и вручила ми в письмо и мон разсказы.

У меня начали подкашиваться ноги. На площадкъ лъстницы стоялъ диванъ, съ трудомъ я дотащился до него, присълъ и, глазами страшной тоски, утратившей послъднюю надежду на жизнь, смотрълъ на не заклеенный конвертъ и не видълъ. что онъ совсъмъ адресованъ не на мое имя.

— Не удалось, —проносилось въ головъ, — не удалось. Ты хитрилъ, а не удалось.

Давая читать адвокату письмо поэтессы— я принималь въ разсчетъ, что не легко отказать просителю сразу, когда въ только что прочитанномъ письмъ пишется, что ты «очень хороний человъкъ» и т. д.

Но не упускаль я изъ виду и того, что если люди не могутъ отказать лично, они вывернуться письменно: отсюда и были мои опасенія, что адвокать отъ меня отдѣлается письмомъ.

Я долго сидѣлъ. Я остро думалъ, а въ ушахъ звенѣло: надо умирать. Вотъ ужъ и конецъ. Бхалъ къ Горькому, но увы, не поймалъ вѣтра въ полѣ.

Потомъ я всталъ-уже съ силой, съ подъемомъ:

-- Чтожъ, если ужъ конецъ, лучше принять его съ мужествомъ. Разверни бумажку и посмотри, какъ люди ухитряются быть палачами: пальнемъ до тебя не коснуться и собственными руками захлеснень себъ петлю на шею.

И туть только я замѣтилъ, что письмо не на мое имя: оно было на имя секретаря одной редакціи.

Я позвониять и говориять той же самой прислугь:

-- Вы ошиблись. Письмо не миъ.

Она не взяла.

- Ну, вотъ. Вамъ велѣно передать.

Тогда я вынулъ изъ конверта листокъ бумаги и прочелъ:

«Многоуважаемый, Николай Ивановичь. Отъ подателя сего письма прошу принять его разсказы. Интересенъ разсказъ «Изобрътатель», а въ особенности «Не отъ міра сего». Оба разсказа вполнѣ достойны напечатанія. Авторъ ихъ—бъдный, больной человъкъ и намъ надо его и его дарованіе поддержать. Зная Ваше доброе сердце, надъюсь, что вы облегчите участь несчастнаго человъка.

Остаюсь преданный Вамъ
А. В. Яв—скій».

Что со мной сдълалось?! Я не върилъ своимъ глазамъ; еще нъсколько разъ перечиталъ... и заплакалъ.

Это были въ моей жизни первыя слезы: слезы радости!

Безпомощный передъ приэракомъ нужды, забитый физическимъ недугомъ, я не выдержалъ незнакомаго мнѣ до той поры чувства, что нашлись все таки люди, которые думають обо мнѣ, хотять принять участіе въ моей судьбѣ; я не выдержаль и заплакаль.

Первыя слезы радости!

Съ ними, смахивая ихъ съ глазъ, я заковылялъ въ редакцію В. и во всю дорогу мучился стыдомъ за гадкое чувство, съ какимъ шелъ къ адвокату: вотъ видишь, вотъ видишь, какъ не хорошо относится съ недовъріемъ къ человъку, когда его не знаешь. Не забывай этого урока!

Около редакціи я немного поостыль: припомниль стычку съ редакторомъ-издателемъ «В.»

Но еще разъ перечиталъ письмо, выхватиль фразу: «Оба разсказа вполнъ достойны напечатанія» и ръшиль, что такъ увъренно высказывающійся человъкъ, въроятно, и въ самомъ дъль съ большимъ вліяніемъ.

— Такой, какъ нибудь загладить.

Вошель. Передаль секретарю письмо. Редактора, на мое счастье, на лицо не было. Прочиталь секретарь, поглядълъ «на несчастнаго» и пообъщаль:

— Постараюсь устроить. Зайдите черезъ недъльку.

Недъля у меня пролетъла, какъ мигъ: съ утра до глубокой ночи писалъ. А ложился спать—не спалось. Волновала фраза адвоката: «надо иамъ его и его дарованіе поддержать».

Дарованіе!

Какой небесной музыкой звучало это слово для меня. Сколько пережито и на родинъ и здъсь, чтобы услышать это слово?!

Соблазнительных плановъ я себъ не строилъ; наоборотъ, внушалъ, что мнъ предстоитъ много учиться, читать, упорно работать надъ собою.

И върилъ, что возможность къ этому мнъ дадутъ адвокатъ и его друзья.

Недъля прошла. Сердце замирало, когда я шелъ въ редакцію. Пробовалъ себя успокаивать:

— Глупое. До чего ты напугано. Что можеть особенно страшнаго случится теперь?

Томили меня темныя предчувствія, но, наивный человѣкъ, если мнѣ было сказано: «Постараюсь устроить»,—я уже вѣрилъ, что «постараются».

Явился въ редакцію. За нед'єлю отъ безсонницы и напряженія надъ работой я осунулся сильно. Секретарь это зам'єтиль.

— Вы очень плохо выглядите.

Потомъ подалъ мнѣ мои разсказы и, тономъ извиненія, заявилъ:

— Не можемъ принять. Сейчасъ война, ярмарка началась, совершенно некуда втиснуть вашихъ вещей.

Онъ говориль еще что-то, но я уже его не слушаль: постояль-постояль и, точно во снѣ, тихо пошель къ выходу.

Въ крайнемъ отупъніи я добрался до дому.

Не было ни мысли, ни какого либо опредъменнаго чувства, кромъ одного желанія: лечь отъ страшной усталости. Но, какъ говорять, одной бъды никогда не бываеть съ человъкомъ, такъ случилось и со мной.

Хозяйка не дала мить даже довалиться до по-

- -- Я къ вамъ опять: деньжонокъ бы!
- Не имъю, —отозванся я.
- А когда будуть?
- Не знаю.
- Ну, такъ вы сегодня же поищите себъ другую комнату. Вы человъкъ больной, ненадежный. Чего съ васъ взять? У меня на ваше мъсто есть надежный квартирантъ.

Туть только я, точно проснулся. Успокомль хозяйку, что въ долгу у ней не останусь и отправился къ адвокату.

Засталъ его дома. Первый разъ въ жизни приходилось такъ прямо просить и, пришибленнымъ голосомъ я высказался:

— Въ редакціи насчеть разсказовъ—отказъ. Хозяйка за столъ и комнату требуеть деньги. У меня ничего ифтъ.

Адвокатъ... вдругъ нахмурилъ брови и ръзко началъ меня отчитывать:

— Знаете что, молодой человъкъ? Когда я быль студентомъ, я быль тоже бъденъ и пробивался мелкой работой въ журналахъ. И пережиль такое положеніе: мы съ женой ютились,

валялись, какъ собаки, въ грязномъ и холодномъ углу! Да. Но... протекціи я все таки ни у кого не искалъ. Теперь я выбился изъ нищеты, живу, какъ человѣкъ, но... помогать вамъ все таки не могу. У насъ до чорта различныхъ филантропическихъ, благотворительныхъ учрежденій и почти во всѣхъ я состою членомъ. Это меня избавляетъ отъ повинности къ вамъ. Что вы мнѣ теперь скажете?

Я быль поражень. «Очень добрый челов вкъи такъ сразу?!»

Я быль поражень и во вст глаза смотрълъ на этого нагло-торжествующаго надъ совершенно беззащитнымъ человъкомъ хама.

Вихремъ кружились мысли:

— Ты нуждался, но должно быть, плохо нуждался, когда будучи человъкомъ *) забыть о томъ,
какъ нуждаются. Ты нуждался затѣмъ, чтобы
отточить клыки и когти на нуждающихся? Большая ли честь такому человъку? Ты имѣешь ярлыки члена многихъ благотворительныхъ обществъ? Пріобрѣлъ ихъ затѣмъ, чтобы имѣть
репутацію «очень добраго человѣка»—обманулъ
всѣхъ и хочешь еще обмануть, что этими ярлыками избавленъ отъ повинности къ нуждающимся внѣ этихъ обществъ? Лжешь!

Вихремъ кружились мысли, но едва я произ-

^{*)} Какое понятіе о «челов'єкть»? Такое-ли понятіе «о челов'єкть» адвокать прим'єняль въ суд'ь? Нижегородцамъ это должно быть знакомо.

несъ нѣсколько словъ, тихо, съ дрожью въ голосѣ: «Кому такъ говорите? Если бъ я былъ здоровъ... Вообразите себя на моемъ мѣстѣ»—какъ адвокатъ очевидно уже опомнился.

Онъ брезгливо поморщился и... заговориль много мягче:

— Да, ваше положеніе ужасное. Положительно не знаю, что съ вами д'влать!

Помолчалъ и... вдругъ:

— Знаете что? Если строго разобраться: васъ нельзя будеть счесть тунеядцемъ, когда вы будете жить уличной милостыней. Такому, какъ вы, всъ подадутъ: сразу видать, что вы не алкоголикъ, а истинно несчастный, больной человъкъ.

Я жутко похолодьть. Я почувствовать, что никогда еще я не ступаль на такую высоту страданія—и глазами этого страданія я впился въ адвоката; я ощущаль, что оттого, что мы смотримь другь на друга такъ упорно,—между нами создается необычайная тяжесть и острота, что адвокать страшно злиться и будеть злиться, пока я не оторву отъ него своего взгляда, и не могъ оторвать.

Я смотрѣлъ и медленно повторялъ:

— Нътъ, просить милостыни я не могу. Нътъ, просить милостыни не могу.

Онъ пожалъ плечами и опустилъ внизъ глаза:

— Почему?

Опустиль свои и я-съ огромпымъ облегче-

ніемъ отъ необычайной тяжести и остроты; какая-то большая, темная, внутренняя сила, внезапно взбудораженная, вновь засыпала.

Мысленно я торжествоваль: «Что, выкусиль? а? Первый—очи долу? Значить твоя сила не сила»—вслухъ говорилъ:

— Вы спрашиваете: почему не могу милостыни просить? Объ этомъ лучше спросите себя.

Онъ вновь пожалъ плечами.

— Положеніе! Жить вамъ буквально нечѣмъ, но доживать свой вѣкъ человѣку, какъ-никакъ, а нало.

Почему «надо»? И если уже явилось признаніе за челов'єкомъ его права на жизнь, то что за признаніе: «Какъ-никакъ»!? *). Адвокатъ залумался. А я въ это время тоже кое о чемъ поразмыслилъ.

Счастье быть «въ уютномъ кабинетикъ» я стало быть имъть только одинъ разъ. Кабинетъ для кліентовъ, а не для нуждающихся; для тъхъ—съ кого можно содрать, заработать, а для просителей—ихъ не надо пускать дальше порога своей квартиры: мы объяснялись буквально у входной двери!

^{*)} Воть, когда искренно высказываются такіе «прогрессивные»! Кому онъ въ Нижнемъ не извъстень, какъ «дѣятель»? Не помню точно— въ 1908 или 9 году изъ тазеть узналь, что онъ высланъ изъ Нижняго. Не за благо человъка такіе борятся, а изъ своихъ корыстныхъ и тщеславныхъ цѣлей,—и скатертью такимъ дорога!

Про пріемную адвокатъ тоже, должно быть, забылъ. То грозилъ прислугѣ строгимъ внушеиіемъ, что въ передней у него не объясняются, но съ момента, когда узналъ, что это не кліентъ, а проситель, нисколько не смущается объясненіями въ передней.

Я не чувствовалъ униженія: я изучалъ незнакомый мнт міръ людей.

Адвокатъ наконецъ, надумался... быть человъкомъ!

— Воть что! Не просить же вамь и въ самомъ дълѣ милостыню на улицъ, или спускаться до героевъ М. Горькаго и доживать съ ними свой въкъ «На днѣ». Мы сдълаемъ такъ: вы обождете еще съ недъльку, а я поговорю со своими пріятелями. Одинъ я для васъ ничего не могу сдълать, ну, а сообща что нибудь да придумаемъ. Обождете?

Мит ничего не оставалось, какъ покорно согласиться:

- Къ хозяйкъ я безъ денегъ не въ силахъ явиться, но если вы мнъ дадите немного денегъ— я обожду.
 - Гдѣ же вы обождете?
 - Гдв нибудь. Теперь лето.
- Ну, ладно. Какъ нибудь, промотаетесь. Во всякомъ случав, —это послъднее ваше мытарство: ввроятно, я устрою васъ письмоводителемъ къ одному пріятелю-нотаріусу; если къ нему не удастся—хотя этого не думаю, —я со-

беру для васъ денегъ, на которые бы вы могли прожить и всколько м всяцевъ. А за это время, несомивно, какое нибудь м всто вамъ разыщемъ.

Адвокать вынуль кошелекъ и, порывшись въ немъ, сунуль миъ трехъ-рублевку.

— Ну, до свиданія. Съ Богомъ! Не унывайте! Върьте въ людей, что пропасть вамъ не дадуть.

Онъ тепло пожималь миѣ руку, лицо его посвѣтлѣло—ледъ во миѣ растаялъ, я благодарно смотрѣлъ на него и зато, что «пропасть миѣ не дадутъ», и зато, что онъ миѣ далъ возможность полюбоваться лицомъ—внезапно преображеннымъ въ лицо человѣка.

— Какими, должно быть, прекрасными людьми мы были въ это время!

Отъ адвоката я пошелъ въ городской садъ; забился въ самый его уединенный уголокъ и пробылъ въ немъ до тъхъ поръ, пока сторожъ не попросилъ объ выходъ.

Пошель въ трактиръ—закусилъ и сидълъ за чаемъ до закрытія.

Когда выбрался изъ него— шумная и оживленная улица днемъ и вечеромъ, была тиха и безлюдна.

Стало жутко. Я впервые почувствоваль, что это за ужасъ—городъ ночью, когда онъ въ тишинъ и безлюдьъ, для человъка не имъющаго въ немъ крова.

Я прошель улицу, другую и присъль въ концъ

ея на скамью. Ночной сторожъ минуть десять смотрълъ на меня и попросилъ:

— Сидъть въ ночное время у дома нельзя. Идите своей дорогой.

Я пошелъ. Еще двъ улицы и вновь присълъ. И отсюда черезъ пять минутъ попросилъ городовой.

Я присъль въ третьемъ мъстъ-тоже самое.

Я думаль пойдти домой и не ръшался: хозяйка меня ждеть съ деньгами, а я съ чъмъ приду?

Я видълъ ея тотъ скверно-подозрительный, жадный взглядъ, какимъ она смотръла на меня, когда я началъ жить въ долгъ, ту гаденькую боязнь, что ее хотятъ обмануть: «Нажить и съъхать», — и не въ силахъ былъ побороть отвращенія.

Ноги болъли нестерпимо, усталость охватывала до изнеможенія, а меня гнали изъ улицы въ улицу.

Пять-десять минуть присъсть—подозрительные взгляды: «зачъмъ присълъ? Что ему надо? Это, должно быть, не спроста»—и болъе или менъе въжливое:

Сидѣть въ ночное время у дома нельзя.
 Идите своей дорогой.

Отъ совсѣмъ грубыхъ окриковъ меня спасалъ приличный костюмъ.

— Будьте вы честнъйшій въ міръ человъкъ, но если хоть одну ночь вы вынуждены будете провести въ городъ безъ ночлега, вы почув-

ствуете, какъ въ васъ заподозрять вора, врага общественной безопасности не только грубый дворникъ, любой городовой, но стѣны изъ камня и дерева: будьте вы честнъйшій человъкъ въ міръ, человъкъ изъ плоти и крови, человъкъ съ частичкой божества—разума и души,—но васъ смертельно оскорбить не только человъкъ, но каждый кирпичъ въ стѣнъ, каждое бревно!

И я ходилъ, гонимый ходилъ, смертельно оскорбленный, до смерти униженный:

— Человъкъ, до чего ты унизился?!

Но безмятежно спали «человѣки» въ своихъ каменныхъ и деревянныхъ норахъ и берлогахъ, спали рабы своего господина изъ камня и дерева и не думали, что даже звѣри не унизили себя до охраны своихъ норъ и берлогъ по ночамъ.

Я ходилъ:

— Охраняйте и охраняйтесь! Шире и выше кладите города свои—совершайте всё виды преступленія надъ человёкомъ по одиночкі и огуломъ,—обществомъ, а человіжь платить и будеть платить вамъ тоже всёми видами преступленія. Охраняйте и охраняйтесь! Прячтесь за стінами, тщательній запирайтесь, трепещите за кріпость стінь своихъ и дверей, ибо, если не дано вамъ создать жизни съ незапертыми дверями по днямъ и ночамъ—значитъ, охраняйте и охраняйтесь! Небо, какъ, должно быть, тебі жалки рабы твои?! Они заперлись, затворились отъ воздуха, они закрылись кусками матерій отъ світа: они

задыхаются, чахнуть, но не отопрутся и оконь не откроють. Небо, можеть быть, ты Небо даже никогда не увидишь великой красоты, когда они перестануть охранять и охраняться! Городъ. Городъ! Пойми и почувствуй весь свой ужасъ.

Свътало. Зашевелился трудовой муравейникъ. И тутъ только городъ позволилъ мнъ отдохнуть. Я присълъ около грязной пекарни, локтями уперся въ колъна, лицо скрылъ въ рукахъ—и такъ сидълъ, удерживаясь, чтобы не стонать отъ боли въ ногахъ.

Въ девять утра я поъхалъ въ больницу. За одну ночь для меня стало ясно все безуміе того, чтобы провести недълю на улицъ при моемъ состояніи здоровья. Я забылъ объ адвокатъ, о томъ, что черезъ недълю конецъ моимъ мытарствамъ, я забылъ о томъ, какъ и зачъмъ я очутился въ этомъ городъ—я помнилъ только о томъ, что у меня въ карманъ есть паспортъ, въ моемъ тълъ бользнь, въ городъ больница.

Я записался и до своей очереди—сидълъ въ углу амбулаторіи и устало грезилъ, что скоро я буду отдыхать на больничной койкъ, не буду видъть скверно-подозрительныхъ, жадныхъ глазъ, никто мнъ не напомнитъ о деньгахъ.

Врачъ меня не принялъ:

- Противъ такой застарълой формы ревматизма больничное леченіе безсильно.
 - Мнѣ жить негдѣ, сказалъ я: Я на улицѣ. Онъ развелъ руками:

— Это все равно. У насъ непріють хрониковъ. Гдѣ «пріютъ хрониковъ» онъ не сказалъ, я не спросилъ—я поѣхалъ домой.

Хозяйка встрътила меня молчаливымъ вопро-

Я покачалъ головой:

— Денегъ нътъ.

Съ злымъ отчаяніемъ она замахала руками:

— Какъ нътъ? Что же это такое? У меня даже на объдъ ни копъйки. У меня дъти останутся голодныя.

Я ее остановилъ. Я сказалъ ей, что черезъ недълю у меня будутъ деньги, мъсто, что мнъ это объщано адвокатомъ такимъ-то и сунулъ ей оставшіеся у меня два рубля:

- Вотъ вамъ на объдъ.
- Адвокатъ.... Я слышала...
- Что она слышала—я не хотълъ слушать. Я шелъ въ свою комнату, а она слъдовала за мной и льстиво говорила:
- Я слышала... Это такой большой человъкъ! Какой вы счастливый: такіе знакомые! А у меня вотъ нъту. Сына бы вотъ куда получше устроить... За 35 рублей тянетъ...

Не раздѣваясь—прямо въ костюмѣ и даже въ пальто я повалился на постель...

Она пошла изъ моей комнаты, — такъ ласково журчала, какъ кошечка:

— Подгуляли? Ахъ, вы... вотъ ужъ никогда не ожидала. Ну-ну, спите! Спокойно я провель недълю. Читаль. Писаль новый разсказъ. Думая о пережитыхъ передрягахъ—думаль о нихъ съ чувствомъ, когда уже что нибудь тяжелое прошло и повтореніе не ожидается:

— Да, что было—петля совсѣмъ. И вдругъ... Въ сущности, человѣку никогда не слѣдуетъ отчаяваться. Привалитъ сразу такое—о чемъ и не мечталъ. Вотъ ужъ никогда не думалъ: мѣсто письмоводителя у нотаріуса!

Шель къ адвокату безъ малѣйшей тѣни сомнѣній.

Позвонилъ, и, когда дверь начала осторожно пріотворяться, но ничьего лица еще не было видно, спросилъ:

— А. В., дома?

— Я самъ на лицо. Войдите.

Я шагнулъ черезъ порогъ. Предо мной стоялъ г. Я. Тепло я было потянулъ ему свою руку, но на полдорогѣ она остановилась и тяжело упала внизъ. Руки адвоката были спрятаны за спиной, на меня онъ смотрѣлъ холодно-злыми, насмѣшливыми глазами, а потомъ, рѣзкимъ и враждебнымъ тономъ, точно онъ видитъ человѣка впервые, но уже предубѣжденъ противъ визита этого человѣка—такимъ тономъ онъ остановилъ на полдорогѣ мою тепло къ нему потянувшуюся руку:

— Что скажете?

Если бы предо мной неожиданно раскрылась

пропасть, въ которую я долженъ неминуемо упасть, я былъ бы менѣе ошеломленъ и изумленъ.

И первое мое движение было выйдти изъ его квартиры—выйдти молча,—но не хватало силь: въ передней стоялъ стулъ, я опустился на него.

Онъ переспросилъ:

- Что скажете?

Я молчаль. Подавленный этой чудовищной игрой, — бросать челов ка къ двумъ острымъ крайностямъ, — то создавать ему иллюзіи на жизнь, то ставить лицомъ къ лицу со смертью, дълать это внезапно, безъ всякихъ переходовъ, точно съ однимъ звъринымъ желаніемъ—упиваться муками челов та этихъ крайностей, — подавленный этой чудовищной игрой, я прежде хотъть крикнуть:

— Что вы дълаете? Что вы дълаете?

И не могъ. Спазмы давили горло. Немного спустя, я уже только хотълъ сказать—тихотихо, безъ ненависти и негодованія, стономъ истерзанной души и всей силой ся убъжденія:

— Что вы дълаете?

Не сказалъ и этого. А онъ медленно, ръзко отчеканивая каждое слово, точно ръшилъ не давать мнъ опомниться, началъ меня добивать: *)

^{*)} Чего у него не хватило—ума или характера довести эту сцену до конца? Мнѣ кажется, чтобы быть послѣдовательнымъ, то г. Я, встрѣчая модчаніе на дважды за-

- Сделать я для васъ ничего не могъ? **) Потомъ, дарованіе у васъ есть—это несомн'єнно! Но существовать литературнымъ трудомъ вы не будете. Вы гд'є учились?
 - Въ начальной школъ.
- Это и видно. Безграмотность у васъ страшная. Читая ваши разсказы—я хохоталъ! Понимаете? До коликъ живота хохоталъ! Надъ тъмъ, какъ у васъ разставлены знаки препинанія и на какихъ буквахъ сдъланы переносы. Понимаете?

Немного помодчалъ:

- Позвольте! Это что такое у васъ?

Бортъ моего пальто отвернулся и, изъ бокового кармана торчала рукопись—только что конченный новый разсказъ, который я захватилъ съ собою къ адвокату.

Онъ потянулся ко мнв и вытащиль изъ кармана рукопись.

— Ага, новое твореніе! Ну, воть, я вамъ сейчасъ наглядно покажу.

Онъ сталъ про себя читать, отмъчая карандашомъ.

Это тянулось болѣе пяти минутъ. Я началъ собой овладѣвать.

— Что же передо мной за индивидъ? Какъ онъ могъ совмъстить то, что было недълю назадъ и то, что творить сегодня? «Не унывайте. Въръте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ».

Что это—лирика безпринципнаго языка, минутная вспышка сердца безъ соединения съ совъстью?

И вдругъ мить стало понятно: изъ какого источника это «сверхмужество» адвоката, сверхмужество спрашивать человъка послъ такихъ завъреній, послъ того, какъ самъ же просиль зайдти:

— Что скажете?

Адвокатъ хорошо пообъдалъ: сытой и наглополупьяной мутью подернулись его глаза.

Онъ одътъ былъ въ широкую, ярко-пеструю рубашку изъ того ситца, что идетъ усиленно на азіатскіе рынки: родное то, какъ видно, не скроешь—сказывается!

Было въ этомъ человъкъ что то тяжелое, затаенно-угрюмое, вызывающее непріязнь, и тогда, когда я его видълъ во фракъ, но фракъ и манеры, очевидно прочно усвоивщися при ношени этого атрибута своего сословія, иъсколько скрадывали непріязнь тъмъ, что казали его безусловно культурнымъ питомцемъ. Но стоило ему сбросить фракъ, заразиться сознаніемъ, что стъсияться передъ какимъ то бывшемъ рабочимъ*)

данный вопросъ, долженъ былъ бы указать мнъ молча на дверь? Тогда, по моему, комедія, была бы блестяще выполнена до конца!

^{**)} Неужели товарищи всё таковы, какъ и самъ. Или... не хотять идти на удочку ловца, который любить быть добрымъ только за счеть другихъ?!

^{*)} Объ этомъ онъ узнала отъ меня же въ первый вивить къ нему.

нечего, что свидьтелей туть нъть, а рабочій, что и гдь можеть онь сказать, чтобы набросить тънь на репутацію одного изъ блестящихъ адвокатовъ Нижняго?! Стоило ему придти къ сознанію, что туть можно быть «самимъ-собой», какъ отъ внъшне культурнаго звъря не осталось и слъда.

Свободно изъ подъ рубашки вырисовывались могучая грудь, широкія плечи, а ея своебразный рисунокъ былъ полнымъ дополненіемъ къ его лицу. Съ изсиня-темнымъ цвѣтомъ кожи, съ крупно-рѣзкими своею жестокостью чертами, съ широкимъ, плоскимъ подбородкомъ, что казало это лицо чуть-чуть не квадратнымъ—оно всею своею совокупностью теперь говорило о хищникѣ духа.

Для былыхъ временъ трудно было представить себъ болъе великолъпную фигуру на: «Сарынь на кичку»!

Но увы, тѣ времена прошли, но и хищники не потерялись, а приспособились: одна изъ первыхъ скрипокъ общества, хамелеонъ судебныхъ залъ; защищающій не по совѣсти, а по разсчету, то обиженнаго, то насильника, политическая фигура—тоже, вѣроятно, изъ первыхъ скринокъ «оппозиціи», членъ почти всѣхъ филантропическихъ и благотворительныхъ обществъ, другъ пріятель со всѣми, съ кѣмъ выгодно, а если и не выгодно, то нужно,—онъ этотъ, разбойникъ духа, всѣхъ обманулъ и обманываетъ,

онъ сообразно времени осуществляетъ ловко «Сарынь на кичку»!—и онъ же пользуется положениемъ «очень добраго человъка», онъ лицо, о которомъ, можетъ быть, многіе отзываются такъ, какъ отозвалась наивная поэтесса!

Да, пока этотъ «дѣлецъ» осквернялъ мою рукопись,—я изучалъ его. Я уже овладѣлъ собою и холодно ожидалъ: а ну, что выкинешь еще?

Наконецъ, онъ оторвался отъ рукописи, всталъ и тыча пальцемъ въ помътки карандашомъ, со злымъ смъхомъ говорилъ:

— Ну, посмотрите, что это за переносы! Боже мой, что это за переносы?! Что же вы сидите? Одервенъли? Я вамъ говорю: посмотрите, что у васъ за переносы.

Я свои «переносы» смотрѣть не желалъ. Онъ уже прямо крикнулъ:

— Вы знаете, что такое «подлежащія и сказуемыя»?

Я ему хотъль сказать, что зналь, но забыль, что «переносы» не такое уже преступленіе изъ за котораго такъ можно орать, ибо оно легко поправимо, что не удивительно и забыть, если я до своего писательства въ теченіе 14 лътъ— въ годъ три-четыре раза держалъ перо въ рукахъ. Я хотъль это сказать—и сказалъ нъчто другое:

— Не знаю. Ничего я не знаю.

Я боялся умъстнымъ возражениемъ отнять у.

себя нужное: дать проявить себя этому индивиду до конца.

Онъ понизилъ тонъ, но прибавилъ апломба:

— Не знаете? Ну, вбейте себъ разъ навсегда въ голову: писатель—есть учитель жизни. А учителемъ вы, конечно, быть не можете. Есть еще литераторы имъющіе сильный изобразительный талантъ—у васъ нъть и этого. У васъ маленькоемаленкое дарованьице, съ которымъ вы далеко не уъдете. Ну, что вы на это скажете?

Что я ему могъ сказать?

Несчастный Алексъй Кольцовъ—ты счастливъ тъмъ, что имълъ другомъ такую великую душу, какъ Бълинскій; несчастный ты счастливъ тъмъ, что не живешь въ наше время, не очутился на моемъ мъстъ: если мнъ за переносы такъ влетъло, то, что было бы тебъ за твою ороографію?!

Не дождавшись отвъта, адвокатъ меня спро-

— Гдъ ваша родина?

Я отвътилъ.

- Что же вы теперь думаете дълать?
- Чего же мнъ дълать?

Онъ съ раздраженіемъ отмахнулси рукой:

- Не понимаете, что ли? Ну, какъ думаете съ собой быть?
 - Не знаю.

Этимъ я опять вызвалъ у него крикъ:

— «Не знаю». Отвътъ?! Кто же долженъ за васъ знать?

Торжествующій хамъ уже слишкомъ торжествоваль, а въ моемъ распоряженіи противъ него ничего не имѣлось, кромѣ какъ напомнить ему, чтобы онъ не забывался до глупости. И со смертельно-спокойной и холодной улыбкой я его спросиль;

- Какъ можно спрашивать съ человѣка моего положенія, какъ онъ думаетъ съ собою быть? Есть положенія, когда человѣкъ за себя не можетъ думать, нечего думать, когда ясно, что положеніе совершенно безвыходное.
- Гм...—адвокатъ подумалъ:—Гм... этимъ вы хотите заставить, чтобы за васъ думали другіе? Какъ можно «заставить» такого человъка, а вообще, что если бы и можно, то я врагъ этого—на этотъ счетъ я ръшилъ промолчать.

Онъ пожалъ плечами:

— Вы не такъ просты, какъ я раньше думалъ. Но, вотъ что... есть у васъ на родинѣ кто нибудь изъ родныхъ?

Разумѣя подъ родными не братьевъ, а человѣка, я отвѣтилъ, что нѣтъ.

- Сколько стоитъ проъздъ до родины?
- Пять рублей съ копъйками.

Я. принесъ изъ пріемной въ переднюю бумагу, чернила и перо, присѣлъ къ столу, написалъ и прочелъ вслухъ.

Вслухъ! Даже и такой дешевенькой добротой не прочь похвастать: смотри, каковъ я!

«Многоуважаемый Өедоръ Өедоровичъ. По-

датель сего письма бѣдный, разбитый ревматизмомъ человѣкъ. Я хорошо зная его, свидѣтельствую: положеніе его безвыходное и отчаянное. Ему нужно*) выѣхать на родину. Помогите несчастному человѣку въ этомъ».

А затъмъ поясненія:

— Это письмо отдадите чиновнику особыхъ порученій при губернаторѣ. Это мой хорошій пріятель. Онъ вамъ выдастъ билеть на проѣздъ и полтора рубля денегъ казенныхъ на хлѣбъ. Такъ полагается. Съ голоду, значитъ въ дорогѣ не умрете!

Потомъ запечаталъ письмо и, вручая его мнѣ, пожелалъ:

— А теперь, до свиданія. Желаю вамъ всёхъ благъ земныхъ!

Въ послъдній разъ я взглянуль на человъка изъ незнакомаго мнъ міра, гдъ такъ дешево и безцеремонно могутъ отдълываться «отъ несчастныхъ».

Я взглянулъ на него съ мыслью: чѣмъ продиктовано его письмо на родину? Жалостью-ли настолько, чтобы она ничего не стоила, или соображеніями, что «несчастный» можетъ полѣзть за помощью еще къ кому нибудь и разсказать, что доброта «очень добраго человѣка» должна быть подъ сомнѣніемъ?

Потомъ я молча кивнулъ головой и вышелъ изъ квартиры этой незабвенной для меня фигуры.

Тихо-тихо—не шибче черепахи брелъ я до канцеляріи губернатора.

Тамъ мнѣ пояснили, что по желѣзной дорогѣ безплатнаго проѣзда до родины мнѣ не могутъ устроить, но по водному сообщеню—въ любой приволжскій городъ.

Я попросиль до Сызрани: оттуда уже была надежда добраться до родины по жельзной дорогь съ къмъ нибудь изъ жельзно-дорожныхъ служащихъ.

Чиновникъ приказалъ писцу написать о безплатномъ для меня проъздъ въ кассу одной пароходной компаніи—и спросилъ:

- А на пропитание въ дорогѣ у васъ есть? Я отвѣтилъ, что нѣтъ.
- Какъ это вы попали въ такое положение?

Я все разсказаль чистосердечно.

Онъ выдалъ мнъ полтора рубля казенныхъ:

— Маловато. Вѣдь, ѣхать почти три дня.

Я поблагодарилъ и заявилъ, что достаточно. Онъ мнъ далъ еще рубль отъ себя.

 А вы бы попросили у того, кто вамъ далъ письмо ко мнъ. Слава Богу, онъ не бъденъ.

Я отмахнулся рукой и, должно быть, мой жестъ сказалъ чиновнику многое: «хорошій пріятель» покачаль головой!

Я еще разъ поблагодарилъ его и вышелъ изъ канцеляріи.

А черезъ два часа я уже ѣхалъ. Пользуясь

^{*)} Почему нужно? Зачъмъ?

билетомъ IV класса я сидълъ на кормъ парохода на грудъ канатовъ.

Пассажиры одного со мною класса — большинство мужички, — смотръли на меня полунасмъшливо:

- Что, баринъ, прогорѣлъ?
- A, и вашему брату съ нашимъ братомъ приходится ѣзжать?

А сверху, съ налубы съ любопытствомъ поглядывали на меня пассажиры I и II класса: прилично одътый человъкъ, а гдъ ъдетъ?!

За кого они меня принимали? Во всякомъ случать не за того, чтыть я въ дъйствительности быль.

Я тоже поглядывалъ на нихъ. Холодно безразличныя лица, а все таки смотрятъ: мы любимъ унижать человъка, пялить глаза на его несчастіе—и совсъмъ не умъемъ быть людьми!

Быстро плыли берега, то низкіе—съ яркой зеленью, то голыя, безъ растительности,—величественныя своей дикой неприступностью высокіе отвъсы; день угасалъ въ ярко-розовыхъ краскахъ—непередоваемая красота ложилась на воду, на песчаныя отмели, небо опрокинулось въ Волгу голубой огромной чашей.

И палуба, и пассажиры моего класса — всъ восхищались, но жадиъе всъхъ на всю эту благодать Божьяго міра смотрълъ я.

Впервые я ѣхалъ по Волгѣ, впервые видѣлъ эту красоту и не переносима была мысль, что

въроятнъе всего: не увидъть мнъ этого великольнія вторично, не всмотръться въ него, какъ слъдуетъ.

Стемнъло. Необъятный, шелковисто-синій пологъ, затканный золотомъ звъздъ, куполообразно нависъ надъ землей.

Я смотрѣль то въ эту высь, то утыкался въ воду: «Куда я ѣду? Гдѣ и у кого найду на родинѣ пріють? Негдѣ преклонить свою голову, негдѣ и не на что дать отдыхъ измученной душѣ, недужному тѣлу. Глупая, старенькая, но милая-милая избенка: можетъ быть, тебя новые владѣльцы уже снесли?»

Поздно. Всѣ пассажиры парохода спять одинъ я все на той же кормѣ, на грудѣ канатовъ.

Все тѣло болитъ и не могу представить, какъ лечь спать, не имѣя даже, какъ мужички, котомки подъ голову, на голыхъ нарахъ IV класса.

Бѣдная моя квартирная хозяйка: къ вечеру ждала и вѣроятно всю ночь прождетъ своего жильца съ деньгами!

Раза два на корму навертывался матросъ и подозрительно на меня посмотривалъ.

Онъ, кажется мнѣ, въ своихъ подозрѣніяхъ не ошибался.

Воды Волги тихо, съ мягкимъ шелестомъ бились о бортъ парохода. Долго я боролся съ силой притяженія этой темной глади: покоя загадочной глубины водъ просило мое жалкое,

забитое недугомъ, тъло, но протестовала душа своей неутомимой тоской по красотъ земли, протестовала и говорила: «А Горькій? Ты къ кому ъхаль—къ нему? Ну, неудача. Перетерпи, а тамъ, можетъ быть, и встрътишься съ нимъ.»

Подъ утро я уже рѣшилъ: до послѣдняго вздоха буду искать этого человѣка. Чтобы меня не ждало, а буду бороться за то, чтобы встрѣтится съ нимъ.

Это ръшеніе дало мнъ миръ, успокоеніе — я дремалъ, сидя на канатахъ.

Подремлю и очнусь. Пароходъ рвется впередъ и впередъ.

— Глупая машина, рвется впередъ и не знаетъ, что нѣтъ въ мірѣ угла, гдѣ бы не лицемѣрно признавали за человѣкомъ его неотъемлемое право на жизнь. Вотъ я работалъ — высосалъ Капиталъ силу, здоровье и выбросилъ изъ сферы труда вонъ: не нуженъ! Вотъ я ищу права мыслить. Калѣка физически, я, какъ милостыни ищу того, чтобы мнѣ дали возможность отдать свои силы духовныя. Я ищу, и что встрѣчаю? Глупая машина!

А потомъ въ сонное сознаніе врывалось, какъ высшая радость: «а Горькій?!» И хот лось кричать:

— Да, да, Горькій! Милый человькъ, живетъ и не знаетъ: какими мытарствами искупаютъ въру въ него. Милый человькъ!

И върилось, что не напрасно я побывалъ въ

Нижнемъ: думалось, что та горькая страничка, которую я вписалъ въ этомъ городъ собственной кровью въ свою книгу жизни — вписана не напрасно.

Съ улыбкой я припоминалъ г. редакторовъ, Ч., адвоката — и страннымъ мнѣ казалось, что не нахожу въ себъ къ нимъ даже непріязни.

А потомъ я пришелъ къ заключенію:

— Недостойно человъка расточать свой гнъвъ по мелочамъ. Нътъ! Отъ мелочей мы себя еще побережемъ!

Кое какъ я добрался до родины. Пріютили меня добрые знакомые. Прожилъ я у нихъ около двухъ мѣсяцевъ. За это время, благодаря чиновнику при губернаторѣ я получилъ изъ Нижняго, оставленныя у хозяйки, всѣ свои вещи: я ему послалъ деньги — и человѣкъ, видѣвшій меня только разъ, не отказался возиться съ расплатой за комнату, съ отправкой вещей.

А потомъ... потомъ я опять прочелъ въ газетахъ: «Горькій прі-ѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ пробудетъ продолжительное время». Прочелъ и боялся: а «вдругъ опять утка?» И мучили опасенія: а вдругъ и въ самомъ дѣлѣ прі-ѣхалъ—поживетъ и уѣдетъ? А тогда ждать новаго случая Богъ знаетъ сколько?

И не выдержалъ. Достали мнѣ добрые люди денегъ на дорогу — я помчался въ Петербургъ.

Это было въ октябрѣ 1904 года.

Англійскій публицисть Е. Н. Диллонъ въ «Иностранной критикѣ о Горькомъ говоритъ:

"Россія единственная страна въ міръ, гдъ мыслима такая необыкновенная карьера, какова карьера Горькаго; нигдъ больше общественныя перегородки не поддаются такъ легко натиску необработаннаго таланта-парія, нигдъ двери не растворяются такъ широко передъ нимъ, когда онъ стучится въ нихъ во имя науки или искусства Здѣсь каждая искра таланта, загорѣвшаяся въ дикихъ степяхъ или грязныхъ трущобахъ, привътствуется, какъ чистое золото, такъ какъ гумманное сочувствіе ко всѣмъ униженнымъ основная черта русской интеллигенціи и русскаго народа и каждый готовъ даже на жертвы, лишь бы облегчить имъ путь".

Такъ-ли это?

Дабы читатель могъ судить — какова на самомъ дѣлѣ русская дѣйствительность, — я разскажу нѣсколько сказокъ изъ русской дѣйствительности, извиняясь за ихъ спецефичность: всѣ онѣ съ хорошимъ началомъ и сквернымъ концомъ!

Прівхалъ я въ Петербургъ съ наличностью безъ гроша въ карманѣ. Кромѣ сестры въ этомъ городѣ — никого. Жила она въ убогой квартирѣ — конура въ одну комнатку, — съ мужемъалкоголикомъ, который не только не приносилъ ни копѣйки со своего заработка, но пропивалъ и то, что она зарабатывала домовой портнихой.

Сестра, оказалось, никогда не писала мнъ правды о своей жизни — на мои вопросы объ этомъ, всегда отдълывалась успокаивающей парой словъ: «Ничего живу».

Скверно подъйствовало на меня такое «ничего». Гнусный, въчно пьяный паразитъ-мужъ и общій, неумолимо-холодный укладъ жизни, придавили сестру до тъхъ невидимыхъ въ жизни маленькихъ мученицъ, которыя дъйствительно лучшаго отъ жизни не ожидаютъ и безъ ропота, ибо видятъ безплодность его, несутъ свои непосильно-огромные кресты.

Несутъ со сжатыми зубами, несутъ съ однимъ мучительнымъ желаніемъ: замуровать на днѣ души своей всѣ стоны, вопли, всю муку своего дикаго существованія.

Послѣ первыхъ привѣтствій, я попытался осторожно покопаться въ душѣ сестры:

— Давненько не видались. Разскажи, какъ жилось и живется?

И получилъ отпоръ. Она нахмурилась, лицо пронизалось внутреннимъ свътомъ гордой безнадежности; помолчала и равнодушно бросила:

— Да, не видались давненько. А говорить, — что говорить? Легче отъ этого не будетъ.

На другой день я отправился въ адресный столъ за адресомъ Горькаго въ сильно приподнятомъ настроеніи: волновался уже не за себя, а за участь сестры.

Милая, наивная молодость! Ты не умѣешь, какъ осторожная старость учитывать обстоятельства момента, заглядывать въ будущее, ты смѣшна, но ты и велика тѣмъ, что сердце твое не окаменѣло въ себялюбіи: мое положеніе, какъ положеніе человѣка непригоднаго къ труду, было хуже положенія сестры, а я ѣхалъ и мечталъ, какъ избавлю сестру отъ мужа, дамъ ей возможность отдохнуть.

И свалился съ неба на землю: опять газеты о прівздв Горькаго наврали.

Не нюхавшій, что за холопство процв'єтаетъ въ литератур'є, не знающій о ста'є борзописцевъ, сшибающихъ на знаменитостяхъ пятаки, пока знаменитость идетъ въ гору, а когда подъ гору, — тоже пятаки, но уже на томъ, какъ бы свалить корифея съ пьедестала — я былъ придавленъ и недоум'євалъ:

— Къ чему эти ложныя свъдънія? Кому какая польза отъ того, что въ газетахъ прокричатъ: «Горькій поселился въ Петербургъ»,—а на самомъ дълъ онъ и носа сюда не казалъ?

Когда я вернулся домой, сестра не спраши-

вая, по моему лицу сразу узнала о неудачь и, безпомощно развела руками:

— Қақъ же будешь? На меня не надъйся. Сама не голодаю, қогда работаю. А работа бываетъ ръдко. Сидишь безъ дъла — сидишь голодная и трясешься: а вдругъ за слъдующій мъсяцъ нечъмъ будетъ платить за квартиру?

Я вспыхнулъ:

- И тебѣ не стыдно? Зачѣмъ же ты въ письмахъ приглашала, чтобы я пріѣзжаль къ тебѣ?
 - Я думала, что ты можешь работать.
 - Ахъ, вонъ что!
- Что жъ... скрывать не буду. Если бы ты могъ работать твоего куска не съъла бы, а легче мнъ было бы. При тебъ мой дуракъ такъ бы не расходился.

И сестра поникла головой. Я видѣлъ, что ей тяжело, жаль меня, но не настолько, чтобы вспыхнувшее отчужденіе прошло совсѣмъ: не легокъ былъ свой крестъ и прибавлять къ этому кресту обузу въ лицѣ меня, было женщинѣ не по силамъ.

Улегся и мой негодующій порывъ, но острый холодокъ отчужденія не исчезъ и во мнѣ, причиняя щемящую боль.

Да, вотъ она жизнь! Вмѣстѣ росли, вмѣстѣ воздавали восторженную дань утреннему солнцу, изумрудной зелени сада, вмѣстѣ впитывали въсебя всѣ первыя впечатлѣнія бытія—и все-таки

не сроднились настолько, чтобы жизнь впослѣдствіи оказалась не въ силахъ разъединить!

Много лѣтъ не видаться, много лѣтъ таить въ себѣ радость встрѣчи — и встрѣтясь, почувствовать себя лругъ-другу въ тягость.

Дикая, чудовищная жизнь, гдѣ юность, свѣтлая святыня человѣка, можетъ быть омрачена скорбью.

Сестра помолчала и предложила:

— Ну, не сердись. Давай объдать.

Я отмахнулся рукой и легъ на постель.

Лежалъ день и мучился, есть гдѣ-то Горькій, но не для меня, не мнѣ найдти его; онъ для человѣка моего положенія—миражъ!

Безнадежность давила до полной апатіи и примиреніе съ концомъ своего бытія казалось единственнымъ выходомъ.

Лежаль на другой день—но уже подъ властью другихъ чувствъ: при мысли, что жизнь меня раздавитъ только, можетъ быть, потому, что мнѣ трудно столкнуться съ нужнымъ человѣкомъ — поле зрѣнія моего слѣпилось бѣшенствомъ.

— Найду, —твердилъ я съ злымъ чувствомъ: — Найду — во что бы это ни стало! Дойду до униженія, ибо гдѣ возможны униженія во имя сохраненія своего я, тамъ не только униженія, но и преступленія должны падать на отвѣтственность общества.

Во мит гоморило не упрямство, не то слипое

и безразсудное, въ чемъ русскій человѣкъ грѣшитъ иногда до фанатизма, а кровь потомка того крѣпостного раба, который и подъ розгами на конюшнѣ продолжалъ думать про свое завѣтное...

А на третій день, я уже надумался.

Схватился за писателя изъ духовныхъ особъ. На моей родинъ это былъ одинъ изъ наиболъе распространенныхъ писателей: не было въ средъ моихъ знакомыхъ дома, гдъ бы я не встръчалъ «проповъдей» этого «батюшки».

Коротко я написалъ ему:

«Боюсь побезпокоить Васъ своимъ визитомъ не во время, а поэтому очень прошу сообщить мнѣ: въ какое время могу быть у Васъ. Имѣю къ Вамъ дѣло, съ которымъ связанъ вопросъ всего моего существованія».

Прошла недѣля — отвѣта не было. Набрался рѣшимости отправиться безъ приглашенія. ѣхалъ въ сквернѣйшемъ настроеніи: не вѣрилось въ помощь. ѣхалъ и думалъ—какое несчастье быть человѣкомъ впечатлительнымъ: не забывалъ отвъта съ дворникомъ, редакторовъ Нижегородскихъ газетъ, а больше всего—адвоката!

Чудилось, что и здѣсь ждетъ лишнее униженіе и во всю дорогу порывало вернуться обратно.

Но Горькій и кровь потомка крѣпостного раба... Я переломилъ себя, когда добрался до особняка батюшки въ Новой деревнъ. Особнякъ былъ изъ тъхъ, передъ которыми бъдняки испытываютъ смущеніе: я посмотрълъ на его фасадъ, на ръзъбу дверей параднаго хода и, когда моя рука коснулась звонка—подумалъ, что я, можетъ быть, совершаю дерзость, которой миъ не простятъ.

Такъ и вышло. Высунулась горничная, быстрымъ взглядомъ окинула меня съ головы до ногъ и, бросила:

— Дома никого нъть.

И захлопнула дверь.

Я пошель съ чернаго хода. Кухарка, на минуту подняла голову отъ кастрюль на плить, оглядьла «посьтителя» тоже съ ногъ до головы:

- Что надо?
- Батюшка дома?
- А на что вамъ его?
- Дъло къ нему имъю.
- Какое дѣло-то! Много тутъ ходятъ по дѣламъ-то. Занятъ онъ. Нельзя его отрывать. Влетѣла горничная. Взглядъ на меня—и видъ:

«ага, проучила наглеца! Знай свое мъсто».

Потомъ опять ложь:

— Вы опять? Я говорила же: дома никого нътъ.

Я кивнулъ головой на кухарку:

— Какъ нътъ? А мнъ только что сейчасъ сказали, что дома.

Горничная неодобрительно посмотрѣла на кухарку и замялась:

— Сказали-то вамъ сказали... Сказать все можно... Только кто въ отвътъ-то?

Сильно звякнула на плитѣ кастрюля, кухарка исчезла за облакомъ пара, а когда онъ разсѣялся, она уже переступала порогъ изъ кухни въ комнаты, съ благосклоннымъ взглядомъ на меня, съ нелестными эпитетами для горничной:

— Подождите: я доложу. Фря всякая, а туда-же: кто въ отвътъ?! Много ты отвъчаеть. Побольше-бы работала!

Быть-бы здѣсь и не такой перепалкѣ, если бы тактъ горничной не подсказалъ, что счеты надо отложить до болѣе удобнаго случая: съ высокомѣрной усмѣшкой она проскользнула мимо кухарки и, уже невидимая, еще разъ напомнила мнѣ и кухаркѣ, чтобы мы не забывались:

— Доклады не ваше дѣло. Ваше дѣло—плита. А на счетъ работы: побѣгайте-ка вы къ парадному ходу!

Кухарка вернулась къ плитѣ; горничная явилась черезъ минуту.

— Батюшка просиль обождать.

Я съ трудомъ сдержалъ тяжкій вздохъ! Минутъ черезъ пять батюшка вышелъ—едва переступилъ порогъ кухни и спросилъ:

— Что угодно? И выпражения от размым в не-

Тонъ былъ холодный; взглядъ тоже не изъ пріятныхъ: стояли мы другъ отъ друга шаговъ

на десять—съ такого разстоянія онъ меня изм'ь-ряль съ головы до ногъ.

Года на три-на четыре я постарѣлъ, износился въ тѣ четверть часа, которые пережилъ въ кухнѣ писателя.

Большими и серьезными глазами я хотъль смотръть на міръ и върилъ, что тъ, которые зовуть къ духовному свъту, къ добру, къ любви, охотно окажутъ мнъ нужную поддержку, но четверть часа въ кухнъ писателя безповоротно убъдили меня, что люди высокія стремленія цънятъ только въ томъ человъкъ, который у нихъ ничего не просить!

Мы захлебываемся въ восхищеніяхъ о талантливыхъ самородкахъ, мы изнываемъ въ соболъзнованіяхъ о гибели этихъ самородковъ подъгнетомъ нужды, но Боже упаси самородка, если онъ вообразитъ, что ему должны помочь: мы забудемъ свои прекрасныя слова и дъломъ своимъ дадимъ ему почувствовать: «Осади назадъ! Туда, въ тъму невъжества и когти нужды, туда, глъ ты задыхался!»

Въ четверть часа я пережиль бездну самопрезрѣнія и испыталь на себѣ ядовитое жало человѣко-ненавистничества—и не ушель, выдержаль, ибо во мнѣ была надежда, что гдѣ то существуетъ Горькій, человѣкъ, который не будетъ измѣрять взглядомъ человѣка съ разстоянія десяти шаговъ; и не ушель, выдержаль, ибо во мнѣ кровь потомка крѣпостного раба. Медленно я на вопросъ батюшки началъ:

- Я къ вамъ по дѣлу. Или вѣрнѣе: съ просьбой...
- Съ какой?
- Не просмотрите-ли у меня два небольшихъ разсказа?

Онъ молчаль, Я почувствоваль, что этого мало, что, можетъ быть, сейчасъ услышу: «У меня для этого времени нътъ. А вообще—это дъло редакцій»—и поспъшиль добавить:

- Меня направили къ вамъ.
- Кто?
- Ваши читатели.

Это была ложь, ложь рожденная моментально въ мучительности униженія, ложь претворенная въ тонкій вопросъ:

- А ну, г. писатель, покажите-ка, насколько у васъ развита отвътственность передъ читателемъ за то, чему вы его учите?
- Странно... Читатели?—съ недоумъніемъ произнесъ батюшка, потомъ холодно пожалъ плечами и пригласилъ слъдовать за нимъ.

Черезъ двѣ минуты онъ усадилъ меня въ своемъ кабинетѣ около письменнаго стола, усѣлся самъ—и попросилъ:

- Разскажите о себѣ поподробнѣе.
- Я началъ, но сейчасъ же запнулся.
- Ничего. Вы не стъсняйтесь, сказалъ онъ и подбодрилъ меня мягкимъ, ласковымъ взглядомъ. Легки свои страданія, когда ихъ разсказы-

ваешь лицу, которое дастъ почувствовать въ себъ человъка. Свободно, непринужденно, съ улыбкой примиренія я разсказывалъ вкратцъ о томъ, какъ жизнь искальчила до 26 лътъ, поставила на острую грань, гдъ за жизнь безъ помощи людей не уцъпишься.

Онъ слушалъ съ довольно деликатнымъ пріемомъ: на меня не глядѣлъ, но слушалъ внимательно, — и не только то, что говорится, но изучается и интонація голоса.

Я кончилъ и заключилъ:

— Милостыни я не хочу; ею жить тяжело, да и жизни безъ цѣли не принимаю. Но если найдете у меня дарованіе и захотите поддержать поддержите меня до конца.

Онъ спросилъ:

— Сильно вы больны?

Я молча показалъ ему обезображенную ревматизмомъ руку.

Онъ немного подумалъ:

 Хорошо. Оставьте свои разсказы. Я просмотрю и дамъ отвѣтъ.

Вынулъ я изъ кармана пальто двѣ тоненькихъ тетради,—тѣ которыя были уже оплеваны редакторами «Нижегородскихъ газетъ.»

— Вы гдѣ живете?

Я сказалъ.

— Сюда, человѣку вашего здоровья, трудно ѣхать. Отвѣтъ я вамъ дамъ письменно.

Я поблагодарилъ и всталъ, чтобы идти.

Онъ взглянулъ на мои тетради и остановилъ:

— Подождите немного, — и вышелъ изъ кабинета. Вернулся минуты черезъ три со стаканомъ кофе и хлѣбомъ: – вотъ, нейте пока кофе,
а я, приблизительно, ваши вещи просмотрю
сейчасъ.

Выбралъ расказъ поменьше и углубился въ него. Я оглядывалъ его кабинетъ. Ничего лишняго: большой письменный столъ, заваленныя книгами и гранками, у стола два (занятыхъ нами) кресла, одна стъна заставлена шкафами съ книгами, около камина — большой обтянутый черной кожей, диванъ.

Ничего лишняго—но масса свѣта, уютъ той богатой, солидной простоты, которая не коробитъ кричащей безвкусицей.

Онъ просмотрѣлъ первый разсказъ и бросилъ: — Да, наблюдательность есть. Эту вещь могутъ напечатать въ газетахъ.

Я промодчаль. Я быль подавлень обиліемь книгь: какая бездна знанія туть—а онъ все это прочиталь, а что читаль я?

Онъ принялся за другой разсказъ и, когда кончилъ его, заявилъ:

— Вотъ здѣсь настоящая искра есть. Этотъ я могу устроить въ «В. Т.» Вы сколько за него хотѣли бы получить?

Я подумалъ, припомнилъ гдѣ-то прочитанное, что минимальный гонораръ за печатный листъ 75 рублей—мой разсказъ былъ около печатнаго

листа, и страшно мнѣ было назвать эту скромную цифру:

— Рублей 50 дадутъ?

— Нѣтъ, 50 не дадутъ. Рублей 25. Журнальчикъ не большой. Подписная цѣна—рубль въгодъ; подписчиковъ всего 6000—дороже платить не въ силахъ.

И точно желая утѣшить меня въ томъ, что мнѣ нельзя получить 50—послѣ короткой паузы добавиль:

— Все, конечно, въ свое время приходить. Въ газетъ «Р. С.» есть сотрудники, получающіе по 50 копъекъ и даже по рублю за строчку— но это уже имена. Вообще, начинающему на первыхъ порахъ у насъ трудно.

Я быль на седьмомъ небѣ. Что этоть добрый человѣкъ говоритъ: «Трудно»?!

Я забыль всё шипы, на которые налетыть до батюшки—я въ эти минуты чувствоваль одно: «Чего я знаю? Какой я писатель? Чёмъ я заслужилъ»?

И радостно лепеталъ:

— Что вы! Да для меня и 25 рублей—ошеломляющая сумма. Эту вещь я писаль четыре дня. Подумайте, что значить для человъка 25 рублей за четырехъ-дневный трудъ, который помнить, какъ онъ работалъ за 10 копъекъ въдень.

Онъ удивился:

- Такъ мало? Такая эксплоатація?

— Да. Но прежде, чъмъ получать 10 копъекъ—нужно два года проработать безъ копъяки

Онъ покачалъ головой:

- Такая эксплоатація.

Помолчалъ и предложилъ:

— А полечиться не хотите?

Я высказаль, что, какъ не хотъть, но выразиль и сомнъніе, что, пожалуй ничего не выйдеть: бользнь застаръла.

Все-таки, попытаемъ. Я вамъ дамъ къ одному профессору карточку. Сходите къ нему.

Получилъ я карточку, поблагодарилъ и хоть идти, но онъ меня опять задержалъ:

— Обождите еще минутку.

Ушелъ и вернулся — протягивая мн 25 рублевку:

-- Вотъ вамъ пока.

Этого я совсъмъ не ожидалъ; денежный вопросъ былъ гдъ то еще впереди, я не успълъ къ нему подготовиться, не пережилъ наединъ такого ръшенія, которое даетъ силу просить о такого уже рода помощи.

Неподвижно я стоялъ передъ батюшкой охваченный одновременно и мучительнымъ стыдомъ и безграничной благодарностью за отзывчивость.

— Не стъсняйтесь, не стъсняйтесь. Когда получите гонораръ за разсказъ — сочтемся.

Это было сказано тепло, задушевно — и уже окончательно порабощенный и растроганный до

глубины души, я молча приняль деньги, молча связаль себя съ этимъ человъкомъ чувствомъ: одно слово этого человъка, посылающее тебя на смерть—пойдешь не задумываясь.

Мы простились. Необузданный въ страдани, когда поглощенный цъликомъ своими внутренними переживаніями не видишь впереди себя предметовъ и прешь на стъну, на человъка, я былъ необузданенъ точно также и въ радости: прежде я чуть не наткнулся на книжный шкафъ, потомъ пошелъ не въ ту дверь.

— Не сюда,— замѣтилъ хозяинъ:— Идите за мной.

Онъ вывелъ меня черезъ парадный ходъ и, прощаясь вторично, спросилъ.

- А у васъ есть еще разсказы?
- Есть. Посмотрю и, можеть быть, что нибудь выберу.
- Вотъ-вотъ. Выбирайте и приходите ко мнъ. Можетъ, и изъ нихъ кое что будетъ подходящее.

На дворѣ уже наступали сумерки. День сырой, туманъ клубился надъ городомъ, порывистый, рѣзкій вѣтеръ пронизывалъ холодомъ, а я, какъ въ блаженномъ снѣ, ѣхалъ на коночныхъ клячахъ, потомъ на паровой конкѣ, видѣлъ массу то сѣрыхъ и кислыхъ, то злыхъ лицъ — многіе съ недоумѣніемъ, а иные съ ненавистью посматривали на меня: уже стемнѣло, вѣтеръ бушевалъ во всю и люди, очевидно, не понимали

какъ можно сіять такъ, какъ я, въ такую тьму египетскую.

Я ѣхалъ домой и добродушно припоминалъ «рыцарей Нижняго»:

— Привътъ, вамъ, господа! Живъ еще Богъ въ душъ человъка — и когда встрътишь такого человъка послъ васъ — лучше и полнъе его оцънишь.

Черезъ полторы недъли я явился къ батющкъ вторично: привезъ ему еще два разсказа. Пыл-кая молодость: одинъ былъ уже вновь написанъ.

Онъ встрътилъ меня ласковымъ, немного усталымъ взглядомъ и вопросомъ.

— Ну, какъ у насъ дъла съ леченіемъ?

Я высказалъ, что былъ у профессора, но лечиться у него не приходится. Мив нужны массажъ и водолечение — водолечебницы при этой больницв не имвется. Ходилъ по совъту профессора въ общину «Краснаго Креста»—результатъ и тамъ неутвшителенъ: лечение дорогое, 90 рублей въ мъсяцъ.

— Да, это дороговато,—отозвался батюшка:— Рублей-бы 30.

Немного подумалъ:

— А впрочемъ, туда, пожалуй, мнѣ можно будетъ устроитъ васъ безплатно.

Въ общинъ, кромъ сестеръ милосердія, муж-

скаго персонала въ родѣ фельдшеровъ не имѣлось, мнѣ нуженъ былъ общій массажъ, водолеченіе тоже требовало полной ноготы—и пришлось мнѣ говорить батюшкѣ, что тяжесть смущенія передъ женщинами я не могу пока себѣ представить.

Онъ выразилъ сомнъніе?

— Не можетъ быть, чтобы все дълалось сестрами. Должны быть, массажисты, при водолечени—служителя.

Я увърялъ, что нътъ. Онъ пошелъ справляться по телефону.

Вернулся въ не меньшемъ смущении, чъмъ я:

— И въ самомъ дѣлѣ. Странно! Ну, ничего. Я подумаю, куда бы васъ еще устроить.

Передъ моимъ приходомъ онъ что-то писалъ, — я передалъ ему разсказы и поспѣшилъ было убираться во свояси.

- Уже уходите?
- Вы заняты.
- Это ничего.

Посмотрълъ на меня – меня знобило.

— Вотъ что. Выпей-те-ка стаканъ кофе, Продрогли вы. Онъ хорошо согръваетъ.

Отъ кофе я отказался и заявилъ, что лучше пойду на кухню и обогръюсь у плиты.

— Ага. Ну, идите.

Я пошелъ. Черезъ минуту и онъ навернулся — остановился у плиты, потеръ надъ ней руки и, предложилъ:

 Если кофе не хотите, выпейте чаю. Скоръе согръетесь.

Отъ чаю я не отказался. Онъ простился и вернулся къ прерванной работ в; но минуты черезъ три явился вновь и предложилъ мнѣ пить чай въ комнатъ.

Я его поняль и возражаль:

— Но мнѣ и здѣсь удобно. Тепло — вотъ главное. Спасибо. Не безпокойтесь.

Онъ увѣрялъ, что въ комнатѣ тоже очень удобно и тепло, а потомъ взялъ меня подъ руку и мягко потянулъ за собою:

Экій вы несговорчивый!

Привелъ въ небольшую комнату, усадилъ, исчезъ и явился минутъ черезъ пять со стаканомъ чаю, котлетой и яичницей.

Я искренно протестовалъ:

- Но я сытъ. Я ничего, кромъ чаю, не хочу.
- Ничего. Съвшьте. День холодный. Дорога вамъ дальняя. А отъ усиленнаго питанія внутренней теплоты бываетъ больше. Непремвино съвштье!

Я вооружился вилкой и ножомъ — онъ съ улыбкой простился:

— Наконецъ-то, покоренъ! *)

Съ этого дня, являясь къ нему, я ходилъ черезъ кухню безъ слъда горькаго чувства: какъ

^{*)} Я дъйствительно быль покорень—но чъмъ платится душа человъка впослъдствіи за такую покорность?

свой человъкъ, который убъжденъ, что самолюбіе въ дапномъ случать ложно и, что не слъдуетъ отрывать отъ дъла прислугу бъготней къ параднымъ дверямъ. **)

Прошла еще недъля. Недъля того восторженнаго состоянія, когда все мое я жило чистой радостью, что въра моя въ человъка не уподобилась безплодному крику погибающаго въ пустынъ.

Я повхаль къ батюшкв въ третій разъ.

Бесъда началась объ одномъ изъ моихъ разсказовъ.

 Нѣкоторые герои неестественны, — заявилъ онъ.

Я сознался, что есть типы съ натуры и есть вымышленные и, послъдніе, должно быть, вымышлены неудачно.

Ну, вотъ. Я такихъ людей хорошо зналъ:
 самъ родился въ кабакъ.

Вещь моя по тем' была аналогична съ разсказомъ Горькаго «Бывшіе люди».

Большими, тяжелыми шагами хозяинъ ходилъ по кабинету и говорилъ, что цънно должно быть въ искусствъ; сказалъ кое что и о Горькомъ:

— Это талантъ, но онъ сломалъ себъ на бо-

сикахъ голову. Когда то я ему говорилъ: «Пойте своимъ голосомъ, хоть маленькимъ, но не будьте подголоскомъ. Ницшеанскій башмакъ для васъ узокъ». Не захотълъ и пошелъ не потому пути.

Я жадно его слушаль. «Ницшеанскій башмакь»,— что это такое? Ничего такого я не знаю — и горѣль страстной жаждой учиться, а рядомъ съ этой жаждой просыпалось безсильное отчаяніе: Не поздно-ли? Все лучшее для этого, кажется попадало, какъ осеннія листья и унесено бурей прошлаго. Не поздно-ли»?

Тяжкую усталость я носиль въ себѣ оттого, что недугъ раздавилъ мою самостоятельность, что внѣ сферы зависимости мое существованіе невозможно и оттого, что весь пройденный мною путь — былъ тѣмъ скорбнымъ путемъ, который легъ на свѣтлыя стороны моей души черными тѣнями безнадежности.

Я смотрълъ на батюшку — на его крупную фигуру, на мягкое раздумье лица, на усталость, постоянно живущихъ мыслью глазъ, — и такъ хотълось сказать ему:

-- Минуты у васъ-отдыхъ для меня за годъ, но эти же минуты—и источникъ новыхъ мученій. Какой я писатель? Что я знаю? Знаю только жизнь трудящихся, то, что подобно той слѣпой лошади, которая думаетъ, что она идетъ впередъ, а на самомъ дѣлѣ толчется на одномъ мѣстѣ: толчется и не видитъ что она вращаетъ одинъ и тотъ же, одинъ и тотъ же проклятый

^{**)} Крупицу элементарнаго такта и минутную вспышку любви къ ближнему, я по молодости, принялъ за фактъ, что на тебя не смотрятъ сверху внизъ.

кругъ только за одинъ кормъ, только за жалкое право своего существованія до тѣхъ поръ, пока на этомъ кругу не упадетъ.

Я изъ числа упавшихъ, изъ числа, можетъ быть, къ несчастью своему, немного прозрѣвшихъ, но сильно отравленныхъ. Страшно по временамъ касаться къ дѣлу писательства съ такой душой. Смутно чувствую, что есть что то, что есть «святая-святыхъ жизни»—но что? Страшно думать объ этомъ, когда не увѣренъ, что можешь отличить святое отъ низменнаго, цѣлесообразное отъ безцѣльнаго, вѣчное отъ бреннаго. Научите! Ибо тяжко жить душѣ, когда она цѣликомъ ни во что не вѣритъ, никому не молится.

Такъ хотълось сказать, но боязнь, проклятая боязнь человъка лишеннаго свъта знанія, вынужденнаго блуждать въ потемкахъ и находить выходъ исключительно только своимъ разумомъ и своими чувствами—такая боязнь сковала мои уста: Что такое я—дикарь; а вдругъ выналишь какую нибудь глупость?!

И я ограничился тъмъ, что попросилъ книгъ, и спохватился, что слишкомъ надолго оторвалъ батюшку отъ работы.

Простились. Батюшка вынулъ изъ кармана и протянулъ мнѣ 25 рублевку.

— Вотъ вамъ еще на расходы.

Я взглянулъ ему прямо въ глаза совершенно свободно.

- У меня еще тъ не вышли.
- Ничего, ничего. Сочтемся. Питайтесь лучше. Это вамъ необходимо. А потомъ—комната у васъ какова?
- Комната незавидна. И холодновата, и сыровата.
 - Ну, вотъ, перемъните на хорошую.

Я молча пожалъ ему руку. Онъ отворилъ мнѣ изъ кабинета дверь и, пропуская, сказалъ:

— Пишите. Изъ васъ что нибудь выйдеть. Какъ напишите новую вещь—приносите.

«Пишите».

Просыпаясь утромъ и сейчасъ же вставая съ постели—я мысленно повторялъ это слово.

— Пишите.

Ложился за полночь и засыпая, думаль все о немъ-же:

-- Пишите.

Оно миѣ создавало повышенный дурманъ, подобный состоянію древнихъ экстатиковъ. Климатъ Петербурга былъ для меня недопустимый климатъ: мой ревматизмъ протестовалъ не только иногда прямо жесточайщими болями, но и прогрессирующимъ уродствомъ суставовъ.

Я буквально отказался отъ чаю и быкомъ пилъ—въ день стакановъ по 15, — настой изъ травы «Зв робой»: эта отвратительная бурда спасала меня отъ тъхъ обостреній, когда бо-

лѣзнь на нѣсколько мѣсяцевъ укладываетъ въ ностель.

Въ дни особенно сильныхъ недомоганій, когда упорная боль въ плечъ или въ кисти руки, отрывала на нъсколько времени отъ работы и вселяла въ душу тягостное чувство такого существованія—я бодро гналъ это чувство прочь.

Кому легче живется? Только тѣмъ, кто на несчасть фругого съ легкимъ сердцемъ строитъ свое счастье, а остальные—всякій въ этой жизни несетъ свой крестъ и всякому онъ по своему тяжелъ.

Воть Катя, знакомая сестры, дѣвушка 28 лѣтъ, съ горячими синими глазами, въ глубинѣ которыхъ судорожно бьется тоска молодого тѣла, и постоянно нервной дрожью тонкихъ рукъ: она мужественно выдерживаетъ боръбу за существованіе, но мучительно недоумѣваетъ: «Къчему? Мнѣ мало быть сытой: я хочу отъ жизни и радостей. А радости то и нѣтъ. Кругомъ такая тупость и пошлость! Человѣка въ ней не вижу. Кажется, что если такъ еще тода три проживешь—въ петлю полѣзешь».

Она горитъ и изнываетъ оттого, что не встръчаетъ хоть сколько нибудь достойнаго человъка, которому можно было бы отдать свое первое чувство.

Вотъ Полина Семеновна, женщина 40 лътъ, мать четверыхъ дътей, умная, глубокая женщина, выстрадавшая въ жизни необыкновенное чутье къ несчастью другихъ и необыкновенный такть, какъ къ несчастью другого подойти.

Когда она приходить ко миѣ, я напередъ знаю, что значитъ ее сильно проняло, но знаю такъ же и то, что не услышу изъ устъ ея ни одной жалобы на свое положеніе, гдѣ приходится изворачиваться не только за себя, но и за судьбу дѣтей.

Мы поньемъ чайку, иногда выпьемъ и «монопольки», мы потолкуемъ объ отвлеченностяхъ, но оба въ этихъ отвлеченностяхъ уловимъ, гдѣ и въ чемъ лежитъ скорбъ каждаго изъ насъ мы потолкуемъ и неизбѣжно окончимъ бесѣду съ сознаніемъ: побольше мужества въ жизни!

Несмотря на свои сорокъ лѣтъ, на появляющуюся сѣдину въ волосахъ, Полина Семеновна носить въ себѣ какое то темное, смутное обаяніе, подобное власти обаянія лѣтнихъ темныхъ ночей.

И когда я прощаюсь съ нею, когда ошущаю въ своей рукъ теплый, нъжный атласъ ея руки и вижу ея хорощо сохранившуюся фигуру—я чувствую, что эта женщина далеко еще не изжилась, не износилась, какъ лучшіе годы молодости протекли безъ счастья, пошли на закалъ луши: ей и теперь бы жить-да жить, но нътъ, поздно — это уже не женщина, а фанатикъ, гордо бросающій вызовъ всъмъ превратностямъ своей судьбы.

Вотъ сестра. Видъ ея у меня иногда вызы-

II3

ваеть улыбку. Жизнь ее немного по головкъ погладила-и зубы ея не такъ уже напряженно сжаты. Все чаще и чаще на ея лицо набъгаетъ улыбка-робкая улыбка, улыбка тихой радости.

михаилъ сивачевъ

Она отдыхаетъ: не видитъ и не дрожитъ передъ пьяной рожей мужа, не живетъ боязнью за то, что за слѣдующій мѣсяцъ нечѣмъ будетъ платить за комнату.

Большаго о ея нереживаніяхъ я ничего не знаю. Она молчить, двигается по комнать не слышно и напоминаеть о себъ только тогда, когда замѣтитъ, что мнѣ что нибудь нужно. Она молчить по недѣлямъ и вдругъ безъ всякаго повода заговоритъ со мной:

- Я такъ его боялась. Я думала, что онъ убьеть тебя, когда ты его станешь выгонять, а онъ такой трусъ оказался... Такой трусъ: заплакалъ и ушелъ.

Я смотрю сестрѣ въ глаза и вижу, что молодая жизнь, пожалуй, раздавлена совсъмъ: при сознаніи, что мужъ оказался жалкимъ трусомъу ней все-таки при воспоминании о немъ паническій страхъ.

Этими тремя лицами исчерпывались мои непосредственныя наблюденія, а приблизительныя... Я радъ, что передъ единственнымъ окномъ моей комнаты торчить брандмауеръ. Это представляетъ извъстныя неудобства-онъ мнъ заслоняеть свъть, но за то создаеть иллюзію, иногда такъ необходимой замкнутости.

Я не увижу изъ своей комнаты гордыхъ, самодовольныхъ походокъ, важной надменной поступи и, безпечныхъ, съ печатью ничего не понимающаго идіотизма, кром в себя, -- гнусных в ! спиг.

Воть имъ легко живется! Какъ бы быстро не катилось колесо жизни, колесо взаимнаго истребленія—наглость поможеть имъ всегда держаться на высотъ его.

И неужели такъ навсегда: задавленные необъединятся, не научатся различать подъ маскою друга смертельнаго врага?

Такъ, въ дни особенно сильныхъ недомоганій-я гналъ тягостное чувство изъ души прочь. И боль становилась менъе чувствительной, потомъ исчезала совсѣмъ.

О, свято-върующая молодость, - какъ ты наивно поклонялась одному слову:

— Пишите!

Чего не сулилъ мнѣ этотъ пустой звукъ? Чудилась свътлая жизнь-путь свободный отъ гнуснаго торжища жизни, путь высшихъ чаяній души!

1905 годъ.

Недолгій самообманъ, недолгое заблужденіе: тамъ, гдѣ дѣйствительность творится людьми, не уясняющими себѣ вполнѣ своихъ дѣйствій и поступковъ, тамъ атмосфера полна жестокихъ разочарованій: скоро создаются иллюзіи и скоро исчезають. Тамъ человѣческая душа—игрушка: чѣмъ ни болѣе въ ней блеска, тѣмъ скорѣе ее разобьютъ.

Одинъ изъ моихъ—вновь написанный, – разсказовъ, батющка пытался устроить въ «Р. Б.»

Когда я писаль его и, когда несъ къбатюшкъ—я боялся: «А вдругъ, закатитъ мнѣ головомойку? Мальчишка, еще нигдъ не печатавшійся, и вдругъ, походъ на писателей съ именами? Что, если скажетъ: Это раненько, молоко еще на губахъ не обсохло»! И велика была моя радость, когда на мои вопросы: «Каковъ разсказъ?» И можно-ли его гдѣ нибудь напечатать»,—я получилъ отвътъ:

— Ничего разсказъ. Напечатать можно.

Я высказалъ свои опасенія.

Батюшка благосклонно улыбнулся; спросилъ меня, что это за имена, и, замътилъ; — Это ничего. Настоящія имена лицъ, вѣдь, не названы. *) А остальное, если въ рукахъ писателя печатное слово оружіе, то почему зарвавшихся молодчиковъ изъ писателей не бить этимъ же оружіемъ?

Немного помолчалъ:

— Я его отдаль въ «Р. Б.» Недъли черезъ двъ дадуть отвътъ.

Физіономіи «Р. Б.» я совершенно не зналь и побоялся за разсказъ уже только потому, что журналъ изъ толстыхъ.

Хотѣлось высказать свою боязнь, что разсказа моего въ такой журналъ не примутъ, что мало еще я поработалъ, но остановила мысль, что батюшка болѣе знаетъ меня, что дѣлаетъ.

Мои опасенія оправдались: разсказа не приняли. Неудача особенно сильно на меня не повліяла, а тутъ еще новый сюрпризъ: къ этому времени я написалъ еще разсказъ «Въ заводѣ», **) который батюшкѣ показался лучшимъ изъ всѣхъ, что онъ читалъ изъ моихъ вещей; онъ довольно потиралъ руки, когда высказалъ мнѣніе о немъ:

^{*)} Этотъ разсказъ—разсказъ о моихъ похожденіяхъ въ Нижнемъ. Запомните, читатель: когда мы благотворимъ, мы далеко не прочь отъ обличенія въ жестокосердечіи другихъ!

⁴⁸) Этотъ разсказъ претерпълъ большія мытарства, быль роковымъ въ переломахъ моей судьбы и, поэтому я даю его названіе.

— Хорошій разсказъ! Жизненный. Содержательный. Впечатлівній много. Я васъ устрою въ «Р. С.» Тамъ будетъ постоянный заработокъ.

«Устрою»—это звучало полной увъренностью. И какъ не върить было мнъ: батюшка быль тогда въ модъ.

Меня это, какъ наивнаго провинціала, — думаю, что кромѣ меня, и многихъ, — ослѣпляло: казалось, что батюшка въ той газетѣ, куда обѣщалъ меня устроить, первая сила.

Но... это «Устрою» было послѣдній иллюзіей, давшей мнѣ извѣдать только сладость голово-круженія.

Бхалъ я домой и пробовалъ сомнъваться:

— Все имена, крупныя имена... въ этой газеть и вдругъ я! Ужъ не ослышался-ли? Да нътъ. Если бы сказалъ: «попытаюсь устроить». Тогда бы—бабушка на двое сказала. А то, въдь, прямо, безъ оговорокъ: «Устрою».

На другой день батюшка уѣхалъ туда, гдѣ издавалась эта газета; вернулся черезъ недѣлюдя насъ обоихъ наступила расплата. Сообщать объ этомъ мнѣ, батюшкѣ, очевидно было тяжелю: онъ не глядѣлъ на меня и отрывисто бросалъ:

— Въ «Р. С.» неудача. Я сомнъвался, что разсказъ «Въ заводъ» — будетъ дебютирующій разсказъ. Вышло иное. Это для меня полная неожиданность,

Я быль сразу раздавлень.

- Можетъ быть, мнъ совсъмъ не надо писать? Бросить писать?
- Ну, вотъ. Пишите. Начинаещему на первыхъ порахъ вообще трудно. На эту неудачу особенаго вниманія не обращайте: она не показатель непригодности разсказа. Тамъ на такія вещи иные взгляды—и только. Примиримся съ этимъ. Вамъ нужно подыскать какое нибудь подходящее мъсто. На этотъ счетъ...

Я не даль ему договорить—безнадежно отмахнулся рукой и сказаль:

- Трудно на это надъяться. Здоровыхъ людей много, а я что?
- Трудно, словъ нѣтъ. Но эту заботу я возьму на себя.

Я ожилъ, поблагодарилъ батюшку и отправился домой. Перспектива собственнаго заработка улыбалась лучше, чъмъ брать деньги у батюшки, не зная,—вернешь-ли ихъ когда.

Насчетъ мъста я долженъ былъ навъдаться черезъ двъ недъли. Томительно шло это время. Отъ неудачь— писательскій дурманъ схлынулъ: не могъ уже писать слъпо, какъ раньше, не зная, что въ твоемъ трудъ цънно и, что негодно.

За письменнымъ столомъ я просиживалъ не меньше, чъмъ и до этого—но на бълый листъ бумаги, иногда за цълый день не заносилось ни одной строки.

Собственными силами я хотъль научиться «чув-

ству мѣры», художественному чутью и падаль отъ непосильности такой задачи: слишкомъ мало работалъ, и слишкомъ сильно давила зависимость.

Сознаніе мутилось отъ тоскливаго напряжепія—и когда я по-ехаль къ батюшкъ, я ръшиль просить его объ указаніяхъ.

Съ первыхъ же словъ батющка навелъ рѣчь на то, гдѣ я въ бытность рабочимъ бывалъ, въ какихъ заводахъ работалъ н, когда я разсказалъ, онъ мнѣ предложилъ:

— Знаете что? Напишите мив все: гдв работали, какіе гдв порядки, что вамъ пришлось пережить. Пишите, незаботясь о литературности— это мив послужить матеріаломъ, который я обработаю самъ Согласны?

Еще бы мнв не согласиться!

— Ну, вотъ. Пишите, а я вамъ за это заплачу дороже, чъмъ бы заплатили редакции.

Я высказалъ, что платы мнѣ не надо, что я безмѣрно доволенъ и тѣмъ, что выпадаетъ случай быть полезнымъ, а потомъ повѣдалъ и о своихъ «мукахъ слова».

Онъ живо отозвался:

— Это хорошо. Кто изъ пишущихъ собою всегда доволенъ—отъ того проку мало. Это хорошо, но вотъ статья: сдёлать вамъ тѣ указанія, о какихъ вы просите, я не могу. Для этого нужно читать ваши вещи вмѣстѣ, а у меня на это время нѣтъ. Дѣлъ по горло.

Помолчалъ, Посмотрълъ на меня и, должно быть, я имълъ очень убитый видъ, когда ему захотълось меня утъшить:

 Очень-то не огорчайтесь. Можетъ быть, какъ нибудь и урвемъ для этого свободный денекъ.

Я повърилъ «въ денекъ» и, энергично засълъ за матеріалъ для батюшки. Черезъ недълю доставилъ ему половину, а еще черезъ три дня заъхалъ узнать: какъ ему этотъ матеріалъ кажется, будетъ-ли годенъ.

— Это внъ сомнънія. Пишите еще. Пишите включительно до того времени, когда не въ силахъ уже стали работать. Я изъ этого матеріала думаю создать большую вещь.

Черезъ недълю я привезъ остальное. Всего было около шести печатныхъ листовъ, — это въ чериъ, крайне сжато.

Я хорошо понималъ: почему такой матеріалъ понадобился баштюкъ. Было начало февраля 1905 года—Гапонъ своимъ историческимъ шествіемъ во главъ рабочихъ пробудилъ интересъ къ пролегаріату.

И хотя у меня у самого бродила мысль использовать то, что пережито въ бытность рабочимъ, ради батюшки я отказался отъ этой мысли съ радостью.

Прошелъ февраль. Наступилъ мартъ. Самочувствіе становилось отчаяннымъ: ревматизмъ не дремалъ, писательскій дурманъ исчезъ безслѣдно, ибо на его мѣсто явилась проза: денегъ мнѣ уже не предлагаютъ, а я просить не могу!

Безъ иллюзій, безърозовыхъ самообмановъ я все чаше и чаще становился лицомъ къ лицу съ жестоко-лживой дѣйствительностью. Были за это время съ батюшкой рѣдкія встрѣчи—тѣ темныя, недоговоренныя встрѣчи, послѣ которыхъ на душу падаетъ тяжесть, что тобою, кажется, тяготятся, тѣ встрѣчи безъ мужества—взглянуть на тебя прямо, сказать тебѣ правду.

Глаза батюшки опущены или внизъ, или устремлены въ сторону, голосъ сухъ, оффиціаленъ. Каждый разъ меня порывало объясниться на чистоту, высказать, что если желаніе помочь становится уже тягостнымъ, вынужденнымъ, то я такой помощи не принимаю—и каждый разъ меня останавливало деликатное чувство, что я могу оскорбить человъка, заподозривъ его въ томъ, о чемъ онъ и не думалъ.

Ждалъ я отъ батюшки одного: мъста. И всякій разъ слышалъ одно:

 Ищу. Но пока ничего подходящаго для васъ нѣтъ.

Иной разъ добавитъ:

— Время для этого у меня маловато. Но не безпокойтесь очень: что нибудь да подыщемъ.

Я говорилъ что въ моемъ положении не до

выбора: рублей на 25 на 30-и это для меня благо.

И ѣхалъ домой.

Бхалъ съ чувствомъ безнадежности и въ то же время не допускалъ, что изъ одного только малодушія меня водятъ за носъ.

Нельзя было въ это повърить. Въдь, я читалъ Д. Я читалъ и не забылъ то, что является при обстановкъ: сытые и обезпеченные люди сидять въ комфортабельномъ уголкъ, сидятъ за столомъ полнымъ деликатессъ изъ винъ и закусокъ, сидятъ и бесъдуютъ, умиляясь благородствомъ другъ-друга, ибо жизнь, подлинная, бъдная, убогая, проклятая жизнь отъ нихъ въ это время безконечно далека, ибо они другъ въ другъ не нуждаются, а если таковое и случится кому неизвъстно, какъ охотно, съ какой радостью открываются кошельки кредитоспособнымъ друзьямъ?

Я читаль и не забываль Д., который о батюшкт писаль, что это «священникъ Бога живого»

Я читаль въ то время, когда еще жизнь не научила меня понимать психологію буржуа, когда еще не дала міть той остроты зртнія, которое за пышными и красивыми фразами видить мерзость запусттнія.

Дома меня встръчала сестра:

- Ну, что? Ничего еще?
- Ничего.

Пока я снимаю пальто, она зорко следить за

моими руками: не выну-ли изъ кармана денегъ и не положу-ли на столъ, какъ это всегда дълать, когда являлся съ деньгами.

Съ щемящимъ сердцемъ я вижу ея разочарованіе, слышу ея тихій, подавленный вздохъ: завтра она пойдетъ въ ссудо-сберегательную кассу за деньгами!

Оказалось, что часть свою съ продажи дома, она всю не прожила, какъя потздкой въ Нижній: ревниво до моего прітада хранила 75 рублей—сумма, которая ей сулила спокойную жизнь:

— Съ машиной работу дома всегда имъть можно. Безъ машины, какъ безъ рукъ. Жди, пока тебя позовутъ. Ждешь мъсяцъ, а позовутъ—отработала недълю, а потомъ опять жди. Сколько разъ своему дураку говорила: не пей—и поправимся! Не слушалъ. Ну и мучилась: сидишь бывало голодная и думаешь: будь бы машина—не голодала; деньги на машину есть—купить нельзя: живо стащитъ и пропьетъ. Иногда прямо молила: хоть бы издохъ, пьяница, поскоръе!

Вздыхаетъ сестра. Тяжко ей разставаться съ деньгами на машину—но въритъ она въ батюшку.

— Ну, смотри. Я возьму еще. Но когда ты получишь мъсто—не забудь меня: верни сколько я взяла.

И еще встрѣча—послѣдняя. Три позорныя минуты!

Сунулъ мнѣ батюшка мои три разсказа.

— Вотъ что. Сходите-ка вы съ этими разсказами къ Б. и въ «Б. В.» къ И. Скажите, что отъ меня. Можетъ быть, они у себя эти разсказы устроятъ. Да кстати, побывайте въ «В. Т.» Странно: вашъ разсказъ я отдалъ туда давно, а онъ до сихъ поръ почему-то не напечатанъ.

Я выслушаль и спросиль:

- А насчеть мъста ничего утъшительнаго?
- Пока ничего.

Потомъ тономъ полувопроса и полуутвержденія батюшка бросилъ:

— Денегъ у васъ нътъ...

Я молча наклонилъ голову. Онъ далъ мнъ 15 рублей, и вставая, протянулъ руку:

До свиданія! Извините. Ђду сейчасъ.
 Спѣшка.

На другой день я по-вхаль въ «В. Т.» Путь изъ Л-всного до Гороховой не близкій; погода и для Петербурга на р-вдкость скверная, — сильно больли ноги, но до редакціи я добрался бодро.

Тамъ меня ждало нѣчто. Выслушалъ редакторъ суть моего посѣщенія, порылся въ столѣ н, заявилъ:

 Никакого разсказа отъ него ко мит не поступало.

Я возразилъ, что не можетъ этого быть, ибо батюшка говорилъ, что разсказъ сдалъ дав-

но и удивляется: почему онъ до сихъ поръ не напечатанъ.

Редакторъ улыбнулся:

— Удивляется? Ну, это для меня не удивительно. Разсѣянъ онъ очень. Вѣроятно, только думалъ сдать къ намъ разсказъ—и забылъ.

Я молча поклонился редактору и вышель изъ редакціи въ сильно-угнетенномъ состояніи духа. Сразу ощутилась вся сила недомоганія и обратный путь домой казался непосильнымъ, невозможнымъ. Я стоялъ передъ дверью редакціи, облокотившись на перила лѣстницы, и видълъ улыбку редактора и повторялъ его фразу: «Разсѣянъ онъ очень».

И хотя сознаніе мое говорило мнѣ, что фактъ ненахожденія въ редакціи разсказа — самъ по себѣ ничтожный фактъ, изъ за котораго не стоитъ волноваться, что нѣтъ ничего проще выяснить это недоразумѣніе, какъ вернуться въ редакцію и по телефону переговорить съ батюшкой—я все-таки не двигался съ мѣста: ропотъ изнемогающаго отъ мукъ тѣла властнѣе сознанія внушалъ, что всякія переговоры безплодны, что полоса истинно-человѣческаго отношенія кончилась, что наступила другая—полоса безразличія, равнодушія,—то, что уже неспособно чувствовать свою жестокость, то, что уже не можетъ содрагаться передъ страданіями человѣка.

Припомнилось то участіе, проявленное, когда я къ батюшкъ явился въ первый разъ: «Сюда,

человъку вашего здоровья, трудно ъхать. Отвътъ я вамъ дамъ письменно». Тогда, значитъ, понималъ, предусмотрълъ облегчение, а теперь... путь до Гороховой для меня вдвое больше, чъмъ до Новой деревни? Посылать такую развалину, когда есть телефонъ? Развъне ясно: прошло столько времени, а что сдълано положительнаго?

Я началъ спускаться съ лъстницы. Нужна была боль духа, чтобы побороть власть боли тъла.

Съ потемнъвшими глазами, я пересаживался съ конки на конку, лъзло мое горе по витымъ и крутымъ лъстницамъ на трехъ-копъечныя мъста—человъческая подлость и пошлость добивала и тутъ:

— Да лъзъте же. Не задерживайте другихъ!

— Вотъ она жадность то! Бхалъ бы за пятакъ, коли Богъ убилъ, но нътъ—претъ на экономію.

Мутилось зрѣніе, невидящимъ взоромъ я блуждалъ по лицамъ оскотинѣвшихъ и дико озлобленныхъ рабовъ города—и рядомъ съ отвращеніемъ къ нимъ, появлялась жалость:

— Не въдають, что творять.

Но тамъ, въ полѣ внутренняго зрѣнія, стоялъ человѣкъ, —прославленный, поднятый выше толны, одинъ изъ числа лучшихъ людей своей страны, —которой поднималъ во мнѣ бурю разнородныхъ чувствъ,

«Вотъ они эти учителя жизни... Гремящіе успъхами своихъ бесъдъ даже въ Маріинскихъ

127

дворцахъ, -- величественные и многомогущие издали, а вблизи-прошло нѣсколько мѣсяцевъ, а что въ результать? Только пока слова, за въру въ которыя жестоко расплачиваешься, только пока благія объщанія - благія объщанія претворяющіяся въ дъйствительности въ издъвательство надъ загнаннымъ человѣкомъ».

михаилъ сивачевъ.

Когда я добрался до дому и немного отлежался-я раскаялся: «Эхъ, голова. И неблагодарная голова! У человъка по горло дълъ, не трудно о какомъ то разсказѣ и забыть-и на одномъ этомъ строить Богъ знаетъ какое обвиненіе!»

Я раскаялся, но отъ безотчетнаго чувства какой то тяжести, отъ странно повышеннаго состоянія нервъ отділаться не могъ.

Было нѣчто похожее на то, что бываеть съ людьми, страдающими грозо-боязнью: напрасно они смотрять на небо и не видя никакихъ зловъщихъ признаковъ, увъряютъ себя, что тревога безосновательна, что небо ясно, но какъ бы они себя не увъряли - глухое и тягостное предчувствіе ихъ не оставить.

Мучительно хотълось скоръе разсъять это состояніе, но ревматизмъ настолько разошелся, что о повздкв къ батюшкв нечего было и думать.

Я написалъ письмо-съ просьбой извъстить меня, въ какомъ положении вопросъ о мъстъ. Отвъта не было. Прождалъ я его цълую недълю, каждый день утвшая себя, что онъ очень занять, разсъянь, что если не ныньче, такъ завтра, но онъ отвътитъ, а безпокойство все росло и, наконецъ, я не выдержалъ.

И путь до Новой деревни-это было самоистязание не столько во имя самосохранения, сколько во имя въры въ человъка.

Когда я добрался до особняка, передъ которымъ бъдняки испытываютъ смущение, и когда оказалось, что «батюшки нътъ дома», а на мой вопросъ, когда онъ будетъ, я получилъ отвътъ: «Теперь долго не будетъ. Уъхалъ до осени» я прислугъ не повърилъ и письменно попросилъ свѣдѣній у «матушки».

Она мнъ на жалкомъ клочкъ бумаги отвътила:

«У ѣхалъ заграницу. Пасху нам ѣренъ провести въ Старомъ Герусалимъ; въ Петербургъ будеть не раньше осени или зимы».

Мое безпокойство сразу разрѣшилось. Тихо, чудовищно-пусто на душѣ, тѣло мое-до такой степени упало самоощущение-не мое тъло, ни мысли, ни чувства, кром одного ощущенія, что на такое извѣстіе ты реагировалъ судоржно-искривленной улыбкой.

Я вышель изъ особняка, въ последній разъ взглянулъ на художественную ръзьбу массивныхъ дверей и отправился во свояси.

«Ты нишій, -говорилъ я себѣ во всю доро-

гу: —Ты въ самомъ началѣ оговаривалъ, что не хочешь милостыни—но тебѣ бросали милостыню, а когда это надоѣло, тебѣ сказали: нишій, довольно, больше не дадимъ»!

Я поражался своимъ безразличіемъ и, повторяя тяжкія слова, желалъ воспламенить себя до гнѣва, до злобы, до проклятія, но тихо, чудовищно-пусто на душѣ, а въ мірѣ безконечныхъ ощущеній, одно ощущеніе: судорожно-искривленная улыбка.

Съ ней и домой пріѣхалъ. Не жаль было сестры, ея наивно-завѣтной мечты о машинѣ—вошелъ и прямо поразилъ:

— Вотъ и конець. Бросиль на произволь судьбы. Человъкъ ишушій помощи, ищушій того, чтобы его упавшаго подняли на ноги—мячикъ. Если не убито униженіемъ отъ одного, отъ другого, отъ третьяго желаніе жить—значитъ запасайся терпъніемъ, учись глотать униженія и перебрасывайся съ рукъ на руки.

Сестра поняла сразу—но тъмъ забитымъ сознаніемъ, которое не сразу принимаетъ жуть дъйствительности; она силилась сдълать спокойнонедоумъвающее лицо:

- Бросилъ? Кто бросилъ? Говори толкомъ.
- Кто? Извѣстно кто батюшка.

По ея лицу побъжала мелкая дрожь.

— Ты не шути. Какъ онъ можетъ бросить *).

А мѣсто то? Человѣкъ ждалъ-ждалъ—и вдругъ ничего.

- A очень, сестра, просто бросилъ: взялъ и увхалъ.
 - Ну, прівдеть.
- Конечно прі детъ. Но не раньше осени или зимы.
 - «Осени или зимы»? А чъмъ жить то?
- На этотъ счетъ, сестра, не мѣшало бы спросить батюшку.

Сестра на минуту замолкла. Потомъ—вспыхнули упреки, подавленныя слезы, сожальнія о томъ, что такъ глупо довърилась,—было то, что разъединяетъ кровныхъ, то что омрачаетъ скорбью воспоминанія о юности.

Я молча перенесъ эту сцену.

А на другой день, сестра сдълала открытіе:

- Черезъ недълю Пасха. Къ какому празднику онъ тебя такъ подвелъ? Я изъ своихъ денегъ больше ни копъйки не возьму: хоть какую нибудь старенькую машину на нихъ куплю.
 - Можешь, отозвался я.
- Конечно, могу. Но только, какъ же Пасха-то? Такой большой праздникъ... Неужели голодать будемъ?

Я молчалъ. Помолчала и она — и неръщительно предложила:

точно считала себя недостойной, касалась книгъ батюшки, данныя мнѣ, имъ-же.

^{*)} Бѣдная женщина: когда она приводила въ порядокъ мой письменный столъ, она съ такимъ благоговѣніемъ,

- Знаю: самъ ты не пойдещь. Но если хочешь—напиши женѣ батюшки, а я снесу? Можетъ, она что нибудь и дастъ: такой, вѣдь, праздникъ!
 - Сомнъваюсь.
 - Ну, а все-таки.

Не уважая «батюшки», я могъ не считаться и «съ матушкой».

Я сълъ и написалъ, что внезапный для меня отъъздъ батюшки, оставилъ меня къ Пасхъ безъ копъйки и, если матушка проникнется христіанскимъ милосердіемъ къ такому празднику—я, если обстоятельства дадутъ мнъ эту возможможность, верну матушкъ помощь съ благодарностью.

Сестра вернулась съ устнымъ отвътомъ:

— Ничего не дала. Прямо при прислугахъ мнѣ сказала: «Передайте брату, что батюшка помогалъ ему, сколько могъ; теперь помочь не можемъ». Я не помню, какъ я вышла. Ну, сказала бы одной, а зачѣмъ же при прислугѣ? Чуть-чуть я не сказала ей: мой братъ— не уличный нищій.

Я улыбнулся. Не было не малъйшаго чувства горечи: «матушка» за мораль своего «батюшки» не отвътственна!

Сестра тяжко вздохнула: жаль разставаться съ мечтой хоть о старенькой машинъ, а приходится.

- Можешь и не брать, -замътилъ я.

- А что же будемъ дълать?
- Ничего.

Сестра уныло отмахнулась рукой и полъзла за книжкой:

— «Ничего». Тоже скажетъ. Не умирать-же. Очень много будетъ чести!

Я съ удивленіемъ взглянулъ на сестру—такая святая простота, а что изрекаетъ: «очень много будетъ чести». Она меня встряхнула: у меня было безразличіе, граничащее съ тѣмъ, когда легко рѣшаютъ, что жить не стоитъ. На минуту явилось бодрое чувство: «Неужели сдаваться? Моего отца на конюшнѣ драли, а вѣдъ, выжилъ, и умеръ, хоть бѣднымъ, но честнымъ человѣкомъ. Развѣ уже весь порохъ въ пороховницѣ?».

Но, когда я машинально подошель къ окну и брандмауеръ тупо всталь передъ моими глазами, напоминая, что за нимъ городъ, то, что мнѣ не обойдти, это гнусное каппще разнузданныхъ божковъ и униженныхъ, раздавленныхъ людей—исчезло бодрое чувство.

Припомнилась пора, пора здоровья, крѣпкихъ мускуловъ, пора, когда безъ копѣйки смѣло кочевалъ изъ города въ городъ, когда на алчность Капитала и жадность подленькихъ людей—отзывался незлобивымъ смѣхомъ: «Жри мое»! «Поставь на свѣчки»!—припомнилась эта гордая, независимая пора и голова безсильно склонилась внизъ.

Долго я стоялъ у окна, а когда отошелъво мнѣ опять заговорила кровь потомка крѣпостного раба.

Вновь я принималь душу щемящій темный путь «человѣка—мячика» уже безъ вѣры въ благородство «благодѣтелей», а со взглядомъ, гдѣ невольно вспыхиваютъ огоньки ненависти.

1

Дни до Пасхи и пасхальные дни—угрюмо и сурово проходилъ каждый день и, уходя, оставляль во мнъ долю выпитаго за день яда.

Помимо воли мыслящее сознаніе, вибрирующіе напряженным трепетом нервы—съ такими милыми качествами немыслимо закрыть глаза на уроки жизни.

Скрытая для другихъ, зіяющая для меня, моя рана больла неустанно, доводила моментами до той остроты, когда внутренне изнемогаешь, мечешься, падаешь отъ влитой въ тебя отравы и сльпо бросаешься на то, что кажется противоядіемъ: тянуло «къ наставленіямъ» батюшки, какъ алкоголика къ запою.

Минутами здоровое чувство говорило: что не надо касаться этихъ наставленій, этой морали сытаго буржуа въ рясѣ, но куда же: больной склоненъ поддаваться больше эксцессамъ своей бользни, чъмъ совътамъ врача.

Присядешь къ столу. Вотъ первое наставление: рецепты по Евангелію!

Еще не добрался до первой страницы, видишь только еще обложку, заголовокъ, но уже чувствуещь, что физіономія твоя искажена судорожно-искривленной улыбкой.

И боль негодованія, боль глубоко оскорбленной гордости, боль такъ желаемая, когда скверняющая лицо гостья появилась на немъ впервые,—эта боль приходить, кричить:

«Нищій! Какъ унизили? За что? Ты извивался подъ бичемъ недуга и никогда не заикнулся о помощи противъ немощи тѣла: оцѣнили-ли красоту такого страданія? Ты пришелъ за волшебнымъ словомъ, которое бы вздохнуло смыслъ и цѣль въ поиски твоего разума, тебѣ вмѣсто такого слова наглядно показали, какой позорный разладъ можетъ уживаться рядомъ съ совѣстью писателя. Воспѣваемый на бумагѣ отвлеченный талантъ-самородокъ неявляйся къ намъ въ реальномъ видѣ, ибо наша житейская, повседневная мораль—это: «Осади назадъ! Туда, въ тьму невѣжества, въ тиски нужды. Осади назадъ: нищій»!

Отвернешь обложку, заглянешь въ первую страницу, во вторую—все это уже знакомо, читано и принято на въру, что прекрасное въ этихъ строкахъ составное души писателя, неотдълимое отъ его совъсти—но увы и ахъ... уже страшно заглядывать дальше и отбросишь книгу.

«Первый пастырь, встрѣтившійся на твоемъ пути... Пастырь, варьирующій на тысячу ладовъ притчу о заблудшей овцѣ... Пастырь, научившій тебя понимать, что «Евангеліе, какъ основа жизни» — это только красивая, возвышающая насъ теорія, непримѣнимая къ практикѣ въ жизни: у жизни свое евангеліе—и притчи изъ него, подобны притчѣ съ тобой».

Отойдешь отъ стола, побродишь по комнатѣ, ляжешь на постель: когда боль претворяется въ самоистязующее наслажденіе—безъ боли нестерпимая тоска.

Это н'ячто врод'я неугомонно-ноющаго зуба и не лучше сд'ялаешь, когда его начинаешь изступленно раскачивать, творить безплодныя попытки вырвать пальцами—и все таки д'ялаешь.

— Нътъ, погоди. Есть еще рецептъ спасенія «заблудшихъ овецъ».

Берется книга, перелистываются страницы и говорять, говорять, говорять...

Я читаю—и я доволенъ, я вознагражденъ! Читатель, върьте только такому писателю, котораго хорошо знаете лично: зная его, вы поймете, гдъ у него только поза и, гдъ его истинное я. Въ противномъ случаъ, только, можетъ быть, изъ тысячи одинъ изъ современныхъ писателей не введетъ васъ въ заблужденю.

Я читаю поучительную повъсть о томъ, какъ алкоголика спасають отъ его порока и направляють на путь истинный. Всъ въ этой повъсти какъ то сказочно быстро, безъ треній идуть къ возрожденію.

Я читаю такую повъсть и думаю, что я не алкоголикъ, но что, можетъ быть, не далеко то время, когда... возьму я эти гимны добродътели, данныя мнъ къ тому же самимъ авторомъ, и... катну за полбутылки!

О, эти измышленія кабинетнаго человѣка, книжнаго крота, знающаго многообразную муку жизни настолько, сколько можетъ дать книга, фантазія въ теплѣ и уютѣ своего кабинета, личныя наблюденія обезпеченнаго человѣка—тѣ наблюденія, когда сытое брюхо не понимаетъ голода, когда здоровое тѣло не можетъ почувствовать муки въ тѣлѣ крѣпящагося больного!

Но жизнь не кабинсть, не книга, не самовлюбленная фантазія, наивно полагающая, что она спасаеть челов'вчество; жизнь не см'вется только надъ т'вми творцами, которые побывали во вс'яхь ея перед'влкахъ, а остальные—когда приходитъ къ нимъ сама жизнь, подлинная, настоящая, безъ прикрасъ—со вс'вмъ своимъ ужасомъ и св'втлой красотой,—не поймутъ сл'впые творцы ея скрытой красоты, а равно и ея кричащаго ужаса: все будетъ для нихъ надписью безъ смысла, крикомъ безъ значенія.

Я читалъ. Столько этихъ наставленій *), что меня начинала охватывать «словобоязнь».

Тогда я рѣшалъ, что на сегодняшній день довольно. Да уже и дню давно конецъ.

^{*)} Сколько ихъ было и будетъ еще послѣ великой Жемчужины міра?!

Тишина. Бросишься въ постель: а можетъ, поутихнетъ? Иллюзія!

Тишина. Изъ сосъднихъ комнатъ—ни звука. Ничто не отвлечетъ. И вотъ тутъ-то опять учтешь: съ чъмъ ты пришелъ и, что тебъ дали?

Эхъ, молодость, плохо цѣнятся твои святые порывы: развернуть свои силы, небезплодно и не постыдно сгорѣть на огнѣ бытія!

Въ тишинъ ночи мнъ до ужаса ясно становилось, что за страстное самолюбіе я принесъ «къ первому пастырю»; не то ложное, что въ ущербъ человъку, ниже его достоинства, а то, что поднимаетъ личность, даетъ ей страсть напряженія въ поискахъ истиннаго, совершеннаго—то безконечно цънное, что жаждетъ Жизни и Человъка и въритъ въ жизнь и въ человъка кипучей кровью молодости, яснымъ, свътлымъ сознаніемъ, которое еще не растлъно жестокосердечіемъ, не тронуто человъко-ненавистничествомъ.

Я принесъ большое положительное—мнѣ дали большое отрицательное.

Въ тишинъ ночи я ръшалъ задачу: положительное—отрицательное-дай Богъ, если остается половина положительнаго.

И такъ иногда порывало въ этой тишинъ крикнуть—пусть сочтутъ безумнымъ!—но крикнуть:

— Эхъ, вы, апостолы съ маленькой буквы, апостолы безъ паствы, учителя безъ учениковъ, апостолы— только съ большой аудиторіей, но съ тъми

жалко-ничтожными результатами, про которые Щедринъ сказалъ: «Писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ».

Пописывайте, господа!

Прошли Пасхальные дни и неволя меня погнала на болье широкое знакомство съ творцами литературной «Толкучки» *).

Темный, непросвъщенный—я долженъ быль на горькомъ жизненномъ опытъ постигать, что литературная толкучка не такъ проста, а главное—такъ чудовищно далека отъ того, что мнилось моему честному сознанію дикаря.

Дистанція—огромная, подавляющая.

Я увидѣлъ, что «на толкучкѣ» есть прилавки: чисто художественные, метафизическіе, научные; я понялъ, что каждый торгашъ разсматриваетъ человѣка и душу его только съ точки зрѣнія содержимости своего прилавка: «Эй, человѣче, все, что нужно для благодати твоей и для спасенія твоего — все у меня: двигайся ко мнѣ»!

Тутъ и позитивисты и христіане, тутъ реалисты и крайніе индивидуалисты—однимъ словомъ я натолкнулся на такую неразбериху, точныя

^{*)} Есть въ одномъ провинціальномъ городѣ рынокъ, называемый «толкучкой», гдѣ торгуютъ исключительно завалью, старьемъ и, скверно, «на мальканъ сдъланными» новыми вещами.

разграниченія въ которой для моего ума оказались не под'ь силу: чтобы хорощо знать вс'в многочисленныя ярлычки, вс'в отт'внки и различія вс'яхъ идущихъ подъ флагомъ искусства, для этого нужно л'єтъ пять или десять сид'єть въ кабинет'є и читать откровенія вс'яхъ этихъ господъ. Но къ несчастью, а вм'єст'є съ т'ємъ и къ счастью, ибо, в'єдь, н'єтъ худа безъ дображизнь для меня была—не кабинетъ, не спокойное сц'єпленіе дней, м'єсяцевъ и годовъ, когда не нужно думать о куск'є хл'єба на завтра, о кров'є на ночь.

Да, я по своему невѣжеству не могъ знать всѣхъ разграниченій между дѣятелямн «искусства» по при столкновеніи съ ними чутко улавливаль одну, всѣмъ общую черту; смертельные враги за товаръ своихъ прилавковъ, какъ будто бы ни съ какой стороны не похожіе другъ на друга, эти господа, за рѣдкими исключеніями, роднились этой общей чертой другъ съ другомъ, какъ двѣ капли воды.

Когда я сталкивался съ ними, когда нужда своей страшной пятой давила мнѣ на горло и рвала крикъ: «Спасите»! я при видѣ этихъ господъ не только не могъ даже заикнуться о томъ, что я отчаянно нуждаюсь, но всѣми силами старался скрыть это.

Но какъ скрыть то, что нельзя скрыть, убогую, ветхую одежду, стоптанную обувь, истощенное недоъданіемъ и бользнью лицо и тоску глазь—безпредъльную тоску человъка, который все болъе и болъе убъждается, что травля на него—травля на смерть, травля, гдъ нельзя крикнуть, что тебя вездъ и всюду только добивають, травля,—забронированная кодексомъ лицемърной морали, травля, — порождающая безуміе и преступленія, травля, гдъ предсмертный стонь добитаго замираеть никъмъ не понятый, не услышанный?

Этого не скроешь—всё сколько нибудь видныя редакціи Петербурга я обошель и вездё встрётиль одинь и тоть же пріемь. О, какъ милы въ этихъ редакціяхъ люди съ тёми посётителями, кто облечень въ хорошій костюмь, кто бросается въ глаза своимъ сытымъ дородствомъ, или изысканностью манеръ той утонченной жизни, на которую никогда не накладывалась проклятая печать истинной нужды!

Безконечно милы, неописуемо милы, и—безконечно, неописуемо жестоки къ тъмъ, которые безмолвно, однимъ своимъ видомъ напоминаютъ о непріятномъ: о долгъ человъка!

Говорять, что философія, это удѣль избранныхъ.

Это—ложь. Самые маленькіе, самые ограниченные люди—философы. И философіи не маленькой — философіи поставленной во главу угла жизни.

Философія за человтька—это бредни, это внѣ жизни, это только прекрасная абстракція на бумагѣ, а въ жизни—самъ творецъ этой абстракціи забываетъ ея красоту и уподобляется философу другого сорта: противо человъка.

Въ жизни—исповъдь звъринаго принципа, а пожалуй и ниже, ибо не дано міру животныхъ разума человъка. *)

И, вполнъ, мнъ кажется, естественно, что если творцы философіи за человъка—въ дъйствительности противъ человъка—то, что остается тъмъ, которые «не въ цъхъ» избранныхъ: развъ они не въ правъ думать, что имъ-то такъ поступать и самъ Богъ велълъ?

И вотъ, —въ какую бы редакцію я не приходиль—я встръчалъ одинъ и тотъ же пріемъ.

Неописуемо милые люди съ другими—эти же люди со мной, —давали мнѣ наглядные уроки искусства моментальныхъ превращеній.

Это—философы. Что имъ мои страданія, мой ужасъ, затравленнаго нуждою и бользнью человька, что имъ я—маленькій, незамьтный, погибающій въ огромномъ городь, но не существующій съ ихъ точки зрынія въ этомъ городь, что имъ я, когда передъ мной такіе философы: у

всѣхъ моментально дѣлаются такія лица, которымъ не до меня, не до моихъ низменныхъ земныхъ скорбей, они живутъ абстракціей, они ушли въ созерцаніе вѣчныхъ идей, поднялись на такую высоту, гдѣ говорить съ ними о томъ, что ты живое существо, изнемогающее въ борьбѣ за свое право жить—у нихъ такія лица, что говорить имъ объ этомъ,—это значитъ сдѣлать не только смѣшной, неумѣстный, непростительный поступокъ, но и оскорбить ихъ пошлостью. И я не говорилъ, не заикался: отъ такихъ философовъ языкъ нѣмѣетъ.

Я не говорилъ, но у меня, въдь, имъются глаза: я видълъ, что за этой моментальной маской живетъ такой же человъкъ, какъ я, что, если бы такого философа втиснуть въ мою шкуру, онъ не постъснялся бы волкомъ взвыть, что страданіе его—это не лживыя призраки, не фикція, а нъчто очень реальное и непримиримовраждебное той проклятой философіи, которая учитъ на муку жизни смотръть съ холоднымъ безстрастіемъ.

Я видълъ такихъ господъ и уходя отъ нихъдумалъ:

— Воть—Діогены XX въка. Вмъсто бочки они имъють или страстно желають имъть такіе особняки, передъ чъмъ бъдняки должны испытать смущеніе, вмъсто черепка—севрскій фарфоръ. Вотъ,—Діогены бывшіе, настоящіе, разлавившіе міръ, милліоны паразитовъ—отнявщіе

^{*)} Извиняюсь передъ читателемъ за то, что я увлекся не въ свою область—это уже задача зоопсихологіи. Можеть быть, когда эта наука изучить внутренній мірь животныхъ и... вдругъ придеть къ страшному выводу, что человѣкъ ниже звѣря—простите читатель, я увлекся мыслью, что, можеть быть, тогда человѣчество искренно покраснѣеть и станетъ лучше...

у милліардовъ людей послѣднее: развѣ въ сырые и темные подвалы бѣдняковъ заглядываетъ солнце?! Какъ низка и гнусна должна быть философія такихъ Діогеновъ, когда ее въ силахъ воспринять самые недалекіе, самые ограниченные люди: великое ограниченности не дается!

Въ первыхъ числахъ іюня я остался одинъ: уѣхала сестра. Мужъ ея поселился въ Финляндіи и написалъ ей, чтобы она пріѣзжала къ нему, что онъ теперь одумался — не пьетъ и впредь не будетъ.

Она показала мнѣ это письмо — я спросилъ: — Ты вѣришь?

Сестра покачала головой.

— Нѣтъ. Сто разъ такія обѣщанія слышала. А на слѣдующій день — собралась и уѣхала.

Тяжки были послѣднія минуты. Съ потемнѣвшимъ лицомъ она собирала свои убогіе пожитки; движенія рукъ были порывисты, рѣзки, на меня невольно бросила нѣсколько косыхъ взглядовъ. Я крѣпился—нелѣпо было говорить объ этомъ и все таки не выдержалъ:

- Куда ты ѣдешь? На что?

Она оторвалась отъ сборовъ, взглянула митирямо въ глаза — и глухо бросила:

- Разъ ѣду такъ, стало быть, знаю на что. Помолчала.
- Тутъ работы нѣтъ. У тебя тоже пичего

не выходить. Къ чему мнѣ здѣсь оставаться? А тамъ, можетъ быть, работа будетъ. Что онъ не броситъ пить — это я знаю. На него не надѣюсь. Только на себя.

Еще помолчала — и съ глубокимъ вздохомъ:

— Будь бы машина—не повхала бы. Заказовъ нѣтъ — на рынокъ можно работать. Хоть и дешево, а все не безъ хлѣба. Горе одно: при немъ деньги были—машины нельзя было купить; его нѣтъ—деньги прожиты.

Ахъ, эта машина. Я понурилъ голову. Невыразимо стыдно и тяжко было за себя и «за благодѣтеля въ рясѣ»: вотъ результатъ—мы отняли у бѣдной женщины машину, необходимое средство къ существоваванію!

Я было заикнулся о томъ, чтобы сестра на меня не сердилась:

— Пойми: вѣдь, меня обманули... Если бы я зналъ, что...

Она, обрывая меня, отмахнулась сурово рукой:

— Понимаю. Не маленькая. И зачѣмъ объ этомъ говорить? Легче отъ этого не будетъ. Вообще...

И не договорила. Слезы безумнаго сожальнія дрогнули въ ея голось; поспышно она увязала въ узелокъ свои пожитки и протянула мить руку:

— Ну, до свиданія. Если... Богъ дастъ свидаться. Вмъстъ горе мыкать лучше, а ничего не подълаешь: приходится порознь. До свиданія!

Я не видълъ ея лица, но чувствовалъ тотъ

ужасъ, который видѣлъ въ ея глазахъ при воспоминаніи о мужѣ.

И съ тою тупостью, когда острота чувства раздавлена непосильностью переживанія, неуклюже думаль: «Воть ѣдеть. На муку, на издѣвательство, а ѣдеть. Воть, на что ѣдеть».

Неслышно выскольэнула изъ комнаты сестра и, какъ эхо, донесся изъ корридора ко мнъ въ комнату ея голосъ:

— Да... совсѣмъ забыла... Тамъ въ столѣ... послѣднія взяла и подѣлила...

Я открылъ ящикъ стола: на виду положены два рубля.

Въ состояніи, когда не вполнѣ отдаешь себѣ отчеть въ томъ, что дѣлаешь, я взялъ эти деньги, пару рукописей и отправился.

Невыразимо стыдно было за себя и за тогопо милости кого это случилось. И всю дорогу
я гнѣвно думалъ: «Погоди, если не издохну, я
тебѣ напишу: Первый пастырь на моемъ пути,
ты сдѣлалъ меня участникомъ поступка болѣе
худшаго, если бы мы сняли съ нищаго
суму».

Вотъ редакція «Б. В». Тутъ человѣкъ, которому мнѣ разрѣшено было передать: «Скажите, что это отъ меня». Какъ это легко и какъ малодушно: бросить человѣка, не говоря ему объ этомъ прямо, а давая еще призрачную надежду: «можетъ быть, что нибудь и устроитъ». Бросить и отправиться въ Старый Іерусалимъ, чтобы про-

вести пасхальную ночь у гроба Господня *). И кто это такъ дѣлаетъ — ярый поклонникъ Толстого, того Толстого, у котораго есть разсказъ о двухъ мужикахъ, отправившихся въ Іерусалимъ тоже ко гробу Господню въ пасхальную ночь. **)

Я пру въ редакцію и осаживаю назадъ, когда мнѣ сторожъ говоритъ: «Сегодня пріема нѣтъ».

«Пріема нѣтъ». Не хорошо, если я обалдѣлъ до того: лѣзу въ ненадлежащіе дни.

Я немного обезкураженъ. Одинъ изъ моихъ разсказовъ г. А. И. уже читалъ и прислалъ мнъ такой отвътъ.

«Разсказъ мнѣ Вашъ нравится. Въ немъ — чистота чувства, знаніе быта, наблюдательность, отсутствіе манерности. Но помѣстить, къ сожалѣнію, я въ «Б. В.» его все-таки не могу. Для этого онъ великъ. Могъ бы я его устроить въ одинъ журналъ—но и тамъ препятствія: въ разсказѣ есть мѣста не для семейнаго чтенія. Буду радъ, если Вы мнѣ

^{*)} Объ этомъ писали въ газетахъ. Поймите, читатель, съ какимъ чувствомъ я долженъ былъ это читать, когда этотъ пастырь обрадовалъ меня къ празднику такимъ "краснымъ яичкомъ".

^{**)} Думаю, что большинству читателей этотъ разсказъ извъстенъ.—Жизнь, какъ ты иногда зло и жестоко шутишь!..

дадите для этого журнала вещь, по при условіяхъ: семейнаго чтенія и внѣшней сюжетности».

Когда я прочиталъ это письмо — на секунду у меня вспыхнуло бодрое, радостное чувство: «это пишетъ критикъ! Лицо, которое на томъ стоитъ, чтобы отличать въ литературъ шелуху отъ зеренъ».

Вспыхнуло и погасло.

«Внѣшней сюжетности» вамъ! Талантъ, энергія — все изнашивается въ безмолвіи, гибнетъ отъ незнанія: вы дадите мнѣ пустой, страшный для меня, звукъ: «внѣшняя сюжетность» — но не покажете, не научите, какія детали въ этой внѣшней сюжетности цѣнны и, какія — нѣтъ. Для искусства нужна подходящая среда, нужны сносныя условія существованія, нужны чуткіе люди, необходимые для начинающаго, какъ воздухъ, вы-же, вся ваша литература даете мнѣ атмосферу, гдѣ я ощущаю собственную смерть и ядъ вашихъ заживо разлагающихся труповъ»...

Теперь я ему принесъ маленькій разсказъ, «надъ внѣшней сюжетностью» котораго много ломалъ голову. И раньше были «муки слова», но эти муки были другого сорта: неумѣнье выразить словами нужное настроеніе, мысль, образъ; нногда даже и слова находились—являлась боязнь: какъ бы не хватить черезъ край.

Это частность, а въ общемъ - писалъ такъ,

какъ Богъ на душу положитъ. И полагалъ, что такъ и надо писать.

Но эта «вн вшняя сюжетность», — это требованіе отступать отъ того, какъ вещь выльется изъ души, требованіе уже — прізчаться къ манерности, раскрашивать содержаніе ловкими литературными оборотами, стилистическими эфектами, фейерверкомъ словъ, — это требованіе толкающее на путь эквилибристики мысли возмутило меня до глубины души: дайте намъ маленькую мысль, обрывокъ мысли, жалкій сколокъ чувства и загримируйте поэфектнъй въ хламиду лживыхъ словъ!

Тѣмъ, что пріема нѣтъ—я быль немного обезкураженъ: настроеніс было изъ такихъ, когда бы я не побоялся поговорить «о внѣшей сюжетности», а попутно высказать и то, что и потрясеніе нанесенное мнѣ велико и условія мои такъ тяжки, гдѣ не до игры словъ.

Отправился я дальше. Воть еще редакція.

Тутъ тоже человъкъ, которому мнѣ разръщено передать: «скажите, что это отъ меня».

Здѣсь мнѣ удается застать нужное лицо. Но... результаты... около двухъ мѣсяцевъ назадъ я отдалъ два разсказа, навѣщалъ нѣсколько разъ по приглашенію: «Придите черезъ недѣльку. Непремѣнно прочту», а потомъ оказывалось, что все: недосугъ, некогда, своей работы много.

Недосугъ номѣшалъ просмотрѣть мои вещи и на этотъ разъ. Я прошу свои разсказы вернуть, ихъ куда то засунули и долго ишутъ, наконецъ, находятъ и говорятъ:

— Такъ, мелькомъ, я въ ваши вещи заглядывалъ. И вынесъ впечатлѣніе, что вы начинаете не безуспѣшно.

Я сурово гляжу на этого человъка и тонъ мой невольно ръзокъ:

— Г. Б., этого мнѣ не нужно. Когда я вамъ передавалъ рукописи, я говорилъ, что очень нуждаюсь; вы обѣщались «скоренько просмотрѣть и, если возможно, устроить».

Критикъ обижается:

— Позвольте! У меня не только ваши рукописи, — у меня ихъ груда; наконецъ, своя работа. Странная претензія.

Я ухожу. Къ чему разговаривать: сытый го-

Куда же еще идти? Развѣ въ «Образованіе». Не стоитъ ноги бить. Предлагать человѣку моего положенія три мѣсяца на просмотръ рукописи—не стоитъ ноги бить.

Куда же еще? Въ журналъ «Н. П.» Предо-мной встаетъ знакомая фигурка.

Мить еще только 18 льтъ. Живу на своей родинть. Появляется въ этотъ городъ культурретеръ пролетаріата, апологетъ соціализма. Я — первый рабочій, съ которымъ онъ знакомился, благодаря одной случайности. Онъ пичкаетъ меня книгами. Онъ внушаетъ мить, что рабочій—это стъна, которая должна остановить шествіе абсо-

люта. Онъ рисуетъ мнѣ, какое огромное зло—милитаризмъ и говоритъ, что борьба рабочаго съ этимъ зломъ должна быть поставлена на первый планъ: милитаризмъ—истощаетъ страну, платежныя силы населенія, пріостанавливаетъ культурный ростъ, тормозитъ осуществленіе рабочаго законодательства. Наконецъ, я какъ нзъ сознательныхъ элементовъ, поэтому на мнѣ лежитъ неукоснительная обязанность помогать ему въ его дѣлѣ.

Я върю, что долженъ помочь и знакомлю его съ рабочими. Какъ политически высланный въ маленькій городъ, гдъ подобнаго, кажется, ничего не бывало, онъ для маленькаго городъ пугало, таинственная фигура.

Но разв'ь подкупленная юность чего боится? Я охотно д'влаю все, что онъ мн'в прикажеть, но когда его д'вятельность развернулась шире—я позволиль себ'в не согласиться съ его тактикой.

Рабочимъ, которые до этого читали только Еруслана Лазаревича и Бову-Королевича, онъ сразу началъ преподавать Маркса. Безъ разъясненій. Отхватитъ 30-50 страницъ—и уходи. Рабочіе уходять съ тупо-недоумѣвающими лицами.

Потомъ тюками начали плавиться прокламаціи въ такую среду, которая не понимаетъ: почему она должна на требованіе жандармеріи отдавать ей эти бумажки.

Такъ и отвъчали:

- Есть, но не отдамъ. По какому праву я не могу читать?

Я позволиль себъ замътить такому дъятелю соціализма, что отъ такой тактики много будеть безплодныхъ жертвъ, что рабочую массу можно только этимъ отпугнуть, не поставивъ дъла на прочную почву.

Мнѣ дали понять, что я хоть «и сознательный элементъ», но не настолько чтобы учить «Главарей».

Я заблагоразсудиль оть таких в главарей отшатнуться.

И воть-встръча почти черезъ 9 льтъ.

Спрашиваю въ «Н. П.» секретаря журнала. Выходить человъче.

— Я-секретарь. Что угодно?

Глазамъ не вѣрю:

- Позвольте васъ спросить: вы не г. Р.
- -- Я. A что?

150

Всматривается въ меня черезъ очки, и, наконецъ, узнаетъ.

-- Какими судьбами?

Поясняю и излагаю вкратцъ суть посъщенія.

Объщается постараться всъми силами. Захожу черезъ недълю. Сунулъ равнодушно мн мою вещь, зъвнулъ.

У насъ направление не то. Тащите въ «Міръ Божій» или въ «Образованіе»—тамъ возьмуть.

На «возьмутъ» я надежды не питаю, но от-

казъ принимаю, какъ должное: что подълаешь, когда направление не то.

Любезно освъдомляется:

— Какъ живете?

Я чистосердечно разсказаль. Смфется человфче, - Это плохо.

Взяль меня этоть смъхь заживое. Смотрю на него: маленькій, черненькій и остренькій, какъ смертный грфхъ.

Все тотъ же-безъ перемѣнъ. Какой былъ, такимъ и остался. Восемь съ лишнимъ лѣтъ срокъ не маленькій, а для него—на вижшнюю сторону безъ вліянія. Восемь съ лишнимъ лѣть-а пять изъ нихъ пробылъ въ Устъ-Сысольскѣ. Но что такое Усть-Сысольскъ для такихъ господъ? Перемъна мъста, совершонная съ помпой: фхаль въ обыкновенномъ пофздф въ сопровожденій жандарма, котораго везъ за собственный счеть! Тхалъ съ большимъ багажомъ, съ дорогими ружьями: вотъ, гдъ похоотиться!

О кускъ хлъба въ ссылкъ нечего думать: мученику за соціальное движеніе пришлють изъ дому денегь сколько угодно.

Еще-бы, такая насильственная вынужденность: жизнь въ глуши, оторванность отъ культурныхъ центровъ!

Я смотрю на него, на то, что восемь съ лишнимъ лѣтъ, а онъ безъ перемѣнъ, и припоминаю многихъ, пострадавшихъ по винъ этого «главаря»: молодые люди, а посъдъли нъкоторые, сгорбилися по старчески за годъ-за два!

Голодъ—не тетка. Ходили жалкіе и униженно предлагали свой трудъ—и ихъ не брали.

Ходили и сожалѣли о тюрьмѣ: тамъ хлѣбомъ кормятъ. Пострадалъ и я: два года девять мѣсяцевъ провелъ на родинѣ безъ права выѣзда, безъ права труда.

Я смотрѣлъ на него и ждалъ: не вспомнитъ-ли онъ о тѣхъ, которые посѣдѣли, сгорбились, исчезли безслѣдно, а нѣкоторые даже трагически покончили съ собой.

Нѣтъ. Онъ, очевидно, забылъ. Забылъ обманутыхъ, забылъ соціализмъ, проповѣдь котораго когда-то ставилъ цѣлью своей жизни: онъ, должно быть, пришелъ къ убѣжденію, что воспріялъ мученическ:й вѣнецъ—и съ него довольно! Пусть другіе поработаютъ—а съ него довольно.

Онъ не вспомнилъ. Я прямо въ упоръ посмотрѣлъ ему въ глаза и безъ всякихъ подходовъ спросилъ:

— Займите мнѣ рублей десять. Будуть—отдамъ; нѣтъ—на томъ свѣтѣ угольками сочтемся.

Онъ набивалъ для меня папиросу – бросилъ, всталъ и протянулъ:

- Вотъ, ужъ не могу. Живу на то, что получаю здъсь: всего на 40 рублей.
- Неужели только на это? А помните, раньше, тамъ, гдъ мы кашу заварили, вы на уро-

кахъ зарабатывали больше ста рублей--жизнь тамъ въ нѣсколько разъ дешевле, чѣмъ здѣсь, а вамъ еще къ чему-то изъ дому по сто рублей слали?

— Мало, что было. Было, да сплыло.

Я чувствоваль, что маленькій, черненькій, и остренькій, какъ смертный грѣхъ, этотъ человѣчекъ лжетъ и, порывало меня на грубое, однажды видѣнное.

Въ городскомъ саду рабочій подошель къ прилично одътому господину и ни слова не говоря заклеилъ ему звонкую пощечину.

Господинъ вскочилъ:

— Это за что?

Рабочій ухмыльнулся и развернулся вторично:

- Ты еще спрашиваешь? Такъ получи еще! Господинъ съ ногъ долой, а рабочій пошелъ и на ходу объяснилъ:
- А это за подлость. Припомни-ка, и подумай.

Порывало, но я сдержался. Всталъ, простился молчаливымъ кивкомъ головы.

И, стоя у редакціи и спрашивая себя—не идти-ли мнѣ въ «Н. П.»—я пришелъ къ заключеню, что сегодня мнѣ тамъ лучше не бывать: настроеніе изъ такихъ, когда при видѣ господъ Р. *) нельзя ручаться за себя.

^{*)} Такимъ все легко дается, ибо они на все легко смотрятъ. Теперь онъ уже писатель съ именемъ: кривляющійся, ломающійся, пишущій по сезону: въ модѣ проблемы пола—онъ пишетъ «о скотоложцахъ». Писатель



Куда же еще? Въ «Міръ Божій»? Тамъ тоже сданъ на просмотръ разсказъ—вмѣсто обѣщанныхъ трехъ недѣль, тянутъ уже полтора мѣсяца.

Въ «Міръ Божій»—но тамъ сегодня не пріемный день.

Куда же еще? Да и стоитъ-ли? Если человъкъ всюду въ такомъ пренебрежении—не значитъ-ли это, что есть только литературный рынокъ, ремесленники слова, а такъ высокопарно называемаго «Богоданнаго искусства» нътъ. Зарыты таланты въ землю—святое назначение таланта поругано, раздавлено, осквернено.

Я долго стою у редакціи «Руси», и наконецъ, ръшаю тать домой.

Дома меня ждало горькое: съ самой Пасхи все время были полуголодные дни, дни свиръпой экономіи, но полныхъ голодовокъ не было.

Пришло и это.

Хозяйка, наконецъ-то, поняла, что жилецъ безнадеженъ и взбъленилась: или плати деньги, или уходи.

Отдалъ ей полтора рубля, а на остальные обманулъ: дня черезъ три-четире непремѣнно отдамъ!

Черезъ два дня въ «Мірѣ Божьемъ» пріемный день.

Въ этотъ злосчастный день я ничего не вкушалъ – только предвкушалъ, – предстоитъ еще пробыть на пищѣ св. Антопія по меньшей мѣрѣ два дня.

О, эти два дня и серебрянный двугривенный! Лучше бы онъ исчезъ и явился, когда нужно. Неустанно прикована къ нему мысль: есть керосинъ, есть немного чаю,—если купить хлъба и съ чайкомъ,—это будетъ совсъмъ недурно!

Но... черезъ два дня въ «Мірѣ Божьемъ» пріемный день! Потрать я изъ двугривеннаго нѣсколько копѣекъ—я отъ «Міра Божьяго» буду отрѣзанъ, какъ на необитаемомъ островѣ отъ материка.

Проклятый ревматизмъ!

Я хитерь: чтобы сохранить побольше силы я до минимума стараюсь сократить движенія тѣла и лежу дни и ночи этихъ двухъ дней пластомъ на постели.

Къ концу второго дня—соблазнъ двугривеннаго исчезъ: уже твердо, безповоротно я ръшилъ его не трогать, но... явился новый соблазнъ. Нъсколько разъ я поднимался съ постели и подходилъ къ окну: брандмауеръ старъ, мъстами его кирпичъ сильно размякъ, обсыпается и мнъ кажется, что если этотъ мягкій кирпичъ пожевать—въ немъ долженъ быть какой нибудь вкусъ и элементъ, утоляющій голодъ.

Мнѣ кажется, но воть бѣда: брандмауерь изъ моего окна недосягаемь.

съ именемъ, не стъсняющийся списывать у другихъ п выдавать за свое.

Ночью этого дня быль уже не сонь, а какоето безсильно-тревожное забытье, кошмаръ желудка, требующаго хлѣба: безконечная ночь—и сознаніе есть, что лучше оборвать это состояніе и бодроствовать,—да силь на это нѣтъ.

Кончился искусъ. Я ѣду и удивляюсь: есть большая слабость, ощутимая легкость тѣла, но въ общемъ—самочувствіе удовлетворительное.

Вотъ и редакція «Міра Божьяго». Но я страшно запоздаль. Мнѣ указывають на часы: пять часовъ, пріемъ конченъ.

Я извиняюсь за опозданіе и говорю, что очень далеко живу, боленъ и мнѣ трудно будетъ побывать въ слѣдующій пріемный день.

Конторщицы спѣшно дописываютъ и щелкаютъ костяшками счетъ. За круглымъ столомъ вдохновители журнала пьютъ чай. Ихъ четверо. Вотъ сѣдовласый старецъ, которому я сдалъ свою рукопись.

— Қақъ называется ваша вещь? — спрашиваетъ онъ.

Я называю.

- А когда вы ее сдали?
- Полтора мъсяца назадъ.
- Не помню такой.

Одинъ изъ четвертыхъ всталъ изъ за стола, пошелъ въ кабинетъ, дверь отворена—миѣ видно порылся въ столѣ, нашелъ и, возвращаясь, молча подаетъ миѣ рукопись. Я смотрю на него, но запомнить хорошо его лица не могъ: у меня помутились глаза.

Кажется передо мной быль прославленный г. К.

- Позвольте, -- говорю я:-- Что же вы молча?
- А что жъ вамъ сказать!
- Но въдь, разсказъ на просмотръ былъ?
- А я, право, этого не знаю.
- Зачъмъ же вы его возвращаете?
- А затъмъ, чтобы онъ зря не лежалъ,—и писатель на меня взглянулъ—съ ногъ до головы. Какъ онъ на меня взглянулъ: на мою синюю рубашку, на мою стоптанную обувь, на весь мой жалкій, истерзанный жизнью видъ! *)

^{*)} Около пяти лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а страхъ отъ такого взгляда живеть во мнв и понынв. Когда я несу въ редакцію вещь и учитываю насколько мой вившній видъ бъденъ-я убъжденъ, что стъсняться со мной не будуть, вещи моей не возьмуть. Думающіе писать, обивающіе пороги редакцій-изо встять силь одтвайтесь по послѣдней модѣ, ибо это спасеть вась оть многихъ терній. Хорошій костюмь, заграничная обувь, модный галстухъ ни на одну іоту не прибавять ценннаго къ написанному вами, но они вселять къ вамъ уважение, нужное приличіе, они поднимуть ваши фонды. Қакъ это ни дико-но это такъ: всъ редакціи нашего многоумнаго времени полагають, что хорошія вещи могуть писать только имъющіе возможность имъть модно-виъшній видъ; не имъющіе такого вида-по мнѣнію редакцій не имъють данныхъ и писать Съ этимъ не согласится ни одна редакція-ибо это дико, но это такъ: дошло до того, что бѣдность и въ храмахъ слова въ полномъ загонъ! Одъвайтесь и обувайтесь по модъ изо всъхъ силъ: въ против-

Я, ошеломленный окончательно, замолкъ. Онъ тоже немного помолчалъ, а потомъ:

— Воть что, молодой человѣкъ. Какъ, видно, вы хотите, чтобы редакція вашъ разсказъ просмотрѣла. Посмотрѣть можно. Отчего же. Но это будеть безполезно: матеріалу въ портфелѣ редакцін оть сотрудниковъ съ именами завалъ.

Я молчалъ.

Онъ сказалъ еще:

- Поняли?

Онъ вообразилъ, что я не понялъ!

Я взяль свою рукопись и пошель: гдѣ-же, гдѣ въ такихъ мѣстахъ встрѣтить хоть простую честность, хоть малѣйшую жалость къ человѣку?! При такомъ дѣлѣ—и развилось, обострилось что такое страшное, противоестественное?!.

Я щелъ машинально, безъ цѣли, куда попало, съ низко опущенной головой и, когда подняль ее,—передо мной былъ Невскій проспекть.

«Міръ Божій» (какова пронія?) угостиль меня такъ, что я не чувствоваль ни голода, ни слабости, мысль встряхнули до остроты.

Я прижался къ стънъ одного дома и стоялъ Городъ. Городъ! Вотъ, твоя улица: обаятельная, какъ волшебное марево—проклятое марево, гдъ гибнетъ человъкъ, его лицо.

Всмотритесь въ толну города-въ ту толну,

вомъ случав васъ скоро добьють. Никогда не забывайте, что наше время--время эстетовъ!

которая въ опредъленный часъ спъшить въ наиболье жадную пасть его.

Каждый хочетъ походить на всъхъ костюмомъ, манерами и лицомъ.

Какой этотъ ужасъ для того, кто подмѣчаетъ, чувствуетъ, что нѣтъ ни однаго лица похожаго на другое, что каждое лицо—это опредѣленная форма, которая точнаго повторенія никогда не найдетъ себѣ во всемъ мірѣ.

Одна мало-замѣтная черточка, одна трудно уловимая линія—но уже разница, разница говорящая освоей, о строго особой психо-физической организаціи.

А они изо всѣхъ силь лѣзутъ каждый походить на всѣхъ!

Красивая, стройная, элегантная цѣпь — кого тутъ нѣтъ? — Лучшій цвѣтъ общества и подонки его но какъ тѣ, такъ и другіе — жалкое, одурманенное человѣческое стадо, стадо загнаное въ красивую, пестрою, чинную суматоху стадо безнадежно зараженное духомъ обогащенія во чтобы то ни стало, духомъ зависти, неуваженія къ чужому.

Городъ растлилъ совъсть человъка—ту святую цънность души, которая на каждый нашъ поступокъ, на помыселъ моментально реагируетъ указаніемъ: къ разряду зла или добра, къ разряду разума или безумія можетъ быть отнесенъ помыселъ или поступокъ.

Городъ растлиль эту святыню—и вотъ человькъ звърь, человъкъ-слъпецъ, незамъчающій,

что онъ блуждаетъ надъ пропастью, срывается и летитъ туда: о, какая эта насмѣшливая, жестокая, лживая, равнодушная ко всему, кромѣ своего я, толпа Невскаго!

Она течетъ, сгущается и лжетъ, лжетъ и лжетъ. Вотъ блестятъ похотью глаза, тихо звучатъ слога соблазна, слова торга—сегодня будетъ, какъ и всегда, много купли и продажи тъла, сегодня будетъ, какъ и всегда, много обманутыхъ!

Вотъ идетъ буржуа и говоритъ громко дѣль- иу такой же масти:

— Жизнь, говорите, тяжела. А съ чего бы ей быть легче? Реформы, батенька, нужны, въ широкомъ смыслъ реформы общественно-политическія! А глъ онъ?

Я улыбаюсь: «Да, да, реформы нужны, но къ реформамъ нужны и заповъди: безъ нихъ твой неутолимый аппетитъ при какихъ угодно реформахъ сумъетъ выжимать изъ трудящагося кровь и потъ»!

Воть, какой-то юркій «обхаживатель» внушаеть молоденькой дамочкѣ—и даже глаза подълобъ закатилъ:

— «Жить — руководясь нравственной истиной»... Однако сказали! Что такое нравственная истина—мы этого точно не знаемъ.

Я улыбаюсь: «Лжешь, негодяй. Имъй совъсть, а остальное приложиться».

Воть идеть студенть. Юный совствиь, съ чуть

пробивающимися усиками, съ дѣвическимъ румянцемъ,—изо всей этой чинной, ведущей себя по извѣстной выдержкѣ, толпы, онъ одинъ не считается съ общимъ тономъ,—звенящимъ голосомъ, сильно жестикулируя, пожилой дамѣ возражаетъ:

— Что вы? Помилуйте! Немыслимо. Деспотизмъ правительства задавить все благія начинанія. Общество совершенно передъ нимъ безпомощно...

Милый юноша! Будь въ Россіи тысяча людей, людей дѣла, уважающихъ въ себѣ личность, людей, у которыхъ высота сознанія не была бы въ такомъ позорномъ разладѣ съ дѣломъ—деспотизмъ передъ авторитетомъ такой тысячи дрогнулъ бы. Испанская инквизиція сожгла и замучила десятки тысячъ людей, но посягнуть одновременно на тысячу лучшихъ людей страны сразу—она не осмѣлилась бы.

«Общество безпомощно».

Милый юноша! Разбросанность, отсутствие пъльности, въчная раздвоенность—обречено на безсилие, на дряхлый маразмъ психики: противное явление, анти-человъческое явление то, что слыветъ подъ именемъ современнаго культурнаго человъка. Отсюда—общество безпомощно!

Милый юноша! Нътъ въ наше время учителей, которые бы возвышались надъ жизнью, были бы факелами правды и стоицизма. «Пророки» нашего времени безлюбовны— изжили себя! «Пророки»

нашего времени пошлы: они надменно смотрятъ на толпу съ какихъ-то воображаемыхъ ими высоть-и канканирують передъ толпой, пресмыкаются подъ ея низменные вкусы, дабы заполучитъ отъ толпы лавры. Они воображаютъ, что они что то дълаютъ, чему-то служатъ-но они изжили себя: пассивные паразиты! Утонченные эстеты въ области своихъ переживаній, чувствованій, часто-умиые люди въ сферъ мысли-но безконечно далекіе отъ человъка въ собственномъ смыслѣ и отъ общечеловѣка-эти эстеты свиньи въ жизни. Имъ отъ роли пророковъ нужно отречься, но лишенные огня совъстиони не отрекутся. Милый юноша, можетъ быть, грядутъ пророки безъ ковычекъ-тъ, что будутъ дышать болже чистымъ воздухомъ, въ жилахъ которыхъ будетъ течь болѣе здоровая и честная кровь, -- но ихъ не видно, они въ дали, которую мы не увидимъ!

Милый юноша, мы зачахнемъ въ сѣренькой, въ скверненькой жизни, мы не увидимъ подъемовъ, мы не полюбуемся величіемъ человѣка, мы дѣти безлюбовнаго вѣка—и будущія поколѣнія насъ не помянутъ добромъ: кромѣ своей дикой тоски и безвѣрія, кромѣ своихъ паденій и раздвоенности,—кромѣ своего позора и безславія намъ имъ нечего завѣщать!

Начинало темнъть, когда я добирался до дому. Я не старался думать, какъ вывернуться изъ

безвыходнаго положенія: когда такъ чувствуєтся общая гибель — вкусъ къ жизни утрачивается.

Только слъзаю съ конки—на встръчу Полина Семеновна.

- Однако, хватили! Гдѣ это вы?
 Очевидно, я очень не твердо держался на вогахъ.
- Хватилъ. Хватилъ, отвѣтилъ я съ улыбкой. Она взглянула мнѣ въ лицо и сразу перемѣнила тонъ:
- Стыдно. Я объдаю въ три часа. Слъдовало бы васъ хорошенько пробрать, да некогла: спъщу.

Я смотрѣль ей вслѣдъ и думалъ:

- Стоить жить.

Пришелъ домой. Встрътила Катя.

— Думала не дождусь. Хотъла уходить. Не ладишь съ хозяйкой то? а?

я понялъ.

- Да, взбъленилась.
- Вотъ что. Есть у меня вещишки. Ненужныя совсъмъ. Въ ломбардъ ихъ—и помирить тебя съ хозяйкой... Идетъ?
 - -- Дай полумать.
- Нечего думать. До свиданья, сэръ. Ждите меня завтра, какъ снътъ на толову!

Она выскользаеть изъ комнаты въ корридоръя смотрю ей вслъдъ.

Стоить жить.

Исчезаетъ. Возвращаюсь и замъчаю на столь кулекъ: хлъбъ, колбаса, яйца.

— И объ этомъ не забыла!

Я подкрѣпляюсь, ложусь и сплю, какъ убитый. Въ девять утра разбудила хозяйка — третій сюрпризъ: переводъ на 20 рублей.

Я жадно-жадно смотрю на безконечно дорогія строки; вся она—неугомонный порывъ, вѣчное кипѣніе, напряженно-трепещущій комокънервъ—и откуда этотъ поразительный по твердости не женскій почеркъ?

Однажды уже эта дѣвушка въ періодъ страшнаго душевнаго перелома внушила мнѣ, что отрицаніе жизни—безсиліе, что побѣда человѣка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи; она подняла меня разъ,—я падаю—она поднимаеть опять.

Я достаю пачку ея писемъ, перечитываю десятки разъ прочитанное—она моя безповоротно, отдалась мнѣ въ этихъ письмахъ,— но она страшное, грозно-великое счастье. Она ничего отъменя, кромѣ меня не требуетъ. Стоитъ мнѣ написать одно слово: «Пріѣзжай»— она съ мужествомъ юности пріѣдетъ на нищету, на униженія— не потому, что не знаетъ нищеты и униженія, а потому, что вѣритъ: «Мы все преодольемъ. Мы выплывемъ»!

Я опять берусь за переводъ.

«Послѣ частыхъ и восторженныхъ писемъ — ты началъ отдѣлываться, открытками, а потомъ и совсѣмъ молчишь. Знаю тебя: значитъ, у тебя неблагопополучно! Отъ кого иного, но замыкаться
отъ меня—здорово за это выдеру за уши.
Эти деньги мнъ совсѣмъ не нужны.
Имъю много хорошихъ уроковъ. Глубоко оскорбишь меня, если эти деньги
вернешь».

Эти деньги ей «совсѣмъ не нужны»! Знаю я эти хорошіе уроки: грошевые.

Да, надо жить! Надо преодольть, или погибнуть такъ, когда не оскорбляется мужество...

Я долго смотрю въ окно: «Эхъ, взглянуть бы теперь на всю ширь жизни и помечтать, какъ бы величаво размахнулись настояще люди на эту гнусненькую дъйствительность»!

Но мѣшаетъ брандмауеръ, на который я, впрочемъ, не сержусь.

— Милый брандмауеръ, ты можешь быть пока спокоенъ за себя: меня отъ аппетита на тебя избавили!

Вновь я пошель «на штурмъ». Для того, кто не отвлеченно, а на себъ почувствоваль черствость нашего времени — это не будетъ звучать странно.

На этотъ разъ мнѣ посчастливилось. Отправился я къ предсѣдателю литературнаго фонда П. И. Вейнбергу. Онъ меня поразилъ. Явился

я къ нему съ просьбой: не устроитъли онъ меня на какое нибудь маленькое дъло.

Онъ выслушалъ и развелъ руками:

-- Трудно. Буду им тъ въ виду-и несомненно. что нибудь въ этомъ отношении сдълаю, но сразу трудно.

Я поблагодаранъ и хотълъ было уходить.

- Куда же вы бъжите? Воть она молодостьто! Двигайтесь за мной.

Онъ провелъ меня въ свой кабинетъ, усадилъ, и пристально посмотрълъ на меня. А я жадно смотрълъ на него: какъ ръдко можно встрътить въ наше время такіе глаза не только у пожилыхъ людей, но и у молодежи!

Но туть не молодежь, туть съдой старикъ, въ глазахъ котораго свътиться огромный опыть, тотъ опыть который видить, какъ велика бездна мукъ на земль, тоть опыть, который многихъ расхолаживаетъ къ несчастью другихъ, заставляетъ ихъ черствъть, опускать руки, ибо имъ кажется, что бездна мукъ неустранима, что помогая одному, они въ сущности ничего не измѣняютъ, *) — передо мной былъ чудный старикъ: наивная, мало проэртвающая жизнь, экзальтація юности у этого старика давно отпала, а золото

юности сохранено и блеститъ такъ, какъ дай Богъ каждому изъ насъ!

Живыми, пламенно-отзывчивыми глазами онъ смотрълъ на меня и, съ улыбкой спрашивалъ:

- Голодаете?
- Бываетъ.
- Вижу. Здоровье скверное?
- Этимъ тоже не могу похвалиться.
- Что у васъ?
- Хроническій ревматизмъ.
- Плохо. Мучительная, коварная бользнь. «Кругомъ шестнадцать» у васъ, а бъжите? Такъ не слѣдуетъ.

Я сказалъ:

- Время такое: людей боишься. Везд'в только бьють и озлобляють. Если вамъ разсказать, чъмъ угощаютъ въ редакціяхъ...
- Да, да, знаю. Наше время—плохое время. Вы столько этой горечи не знаете, сколько я знаю. На этомъ стою. Не легкій постъ! Но вотъ что: вы глъ печатались?
 - Нѣтъ.
- Плохо. Хотълось бы вамъ помочь, но если вы ни разу на печатались-помочь вамъ трудно. Подумалъ.
- Въ «Живописномъ Обозрѣніи» у П. вы не бывали?

 - Сходите къ нему. Не говорите, что я на-

^{*)} Я говорю о категоріи людей нашего времени—людей "великихъ дълъ" людей брезгающихъ малыми дълами, людей-не уясняющихъ себъ или не желающихъ уяснить, что великое въ маломъ, а малое въ великомъ, а поэтому творящихъ только разложеніе.

правилъ. Онъ... помяче нынъшнихъ... *) И если онъ возьметъ у васъ ваше произведеніе, коть маленькое, —попросите у редакціи удостовъреніе въ томъ, что такая-то ваша вещь принята для напечатанія, и, являйтесь съ этимъ удостовъреніемъ ко мнъ. Для полученія пособій и ссудъ изъ фонда нуженъ цензъ — у васъ его нътъ. Приходится изворачиваться: на основаніи удостовъренія я могу устроить вамъ пособіе рублей въ 75. Ну съ Богомъ!

Отъ Вейнберга я пошелъ въ «Живописное Обозрѣніе». П. встрѣтилъ меня взглядомъ изъ подлобья, лицо его мнѣ показалось тоже довольно суровымъ. Подалъ я ему два маленькихъ разсказа—онъ мелькомъ взглянулъ на нихъ и заявилъ:

— Зайдите недѣльки черезъ двѣ.

Не забывая словъ Вейнберга, что П. «помягче нынъшнихъ»— я дерзнулъ попросить:

— Нельзя-ли поскор ве?

Вновь взглядъ изъ подлобья—и мягко высказанное согласіе:

— Хорошо. Зайдите завтра.

Явился я къ П. на другой день. Тотъ же взглядъ изъ подлобья, хмурое лицо—но человѣкъ красится не взглядами и лицомъ. Коротко мнѣ заявилъ:

— Вотъ этотъ разсказъ новъ, оригиналенъ я его возъму; недѣльки черезъ двѣ его напечатаемъ. Если у васъ есть еще матеріалъ — приносите.

О пріємѣ разсказа я не смѣлъ мечтать и растерялся отъ радости до того, что не могъ ничего сказать.

А онъ помолчалъ и еще:

— Я распорядился, чтобы вамъ дали небольшой авансъ. Рублей 15 будетъ довольно?

Я молча пожалъ ему руку.

— Идите къ кассъ и получите.

Иду къ кассъ. Кассирша порылась въ ящикъ стола, потомъ встала и пошла въ кабинетъ. Я слышалъ, какъ она тихо сказала:

— И. Н. въ кассѣ денегъ почти нѣтъ. Если выдадимъ этотъ авансъ—выдадимъ послѣднія деньги.

Тихо отвѣтилъ П.:

— Не «если», а обязательно надо выдать. Этому начинающему, в'вроятно, приходится очень туго. Выдайте ему.

Я получиль авансь и, выйдя изъ редакціи, побрель, куда ноги ведуть. Неожиданная удача волновала не мен'ве сильныхъ огорченій. Останавливался передъ кіосками и упивался мыслью, что въ скоромъ времени эти кіоски будуть торговать нумеромъ «Живописнаго Обозр'єнія» съ моимъ разсказомъ. Потомъ припомнилъ «объ удостов'єреніи» и р'єшилъ, что за нимъ побываю завтра.

Но побывать у Потапенко и Вейнберга-мнъ

^{*)} На словахъ курсивомъ Вейнбергъ сдълалъ удареніе.

больше не пришлось. *) На другой день я прочиталь въ газеть «интервью—съ Горькимъ» и помчался къ нему.

Жилъ онъ въ это время въ Финляндіи—въ Куоккала.

Доъзжаю до этой станціи и спрашиваю чухонца-извозчика:

- Знаешь, гд в Максимъ Горькій живеть?
- Горки... Горки...— повторяетъ чухонецъ и, качаетъ съ упрекомъ головой: какъ онъ можетъ не знать, гдъ живетъ «Горки»? объ этомъ, молъ, даже глупо спрашивать!

Я сажусь въ его одномъстный тарантасъ и ъду.

Вотъ и дача Горькаго. Изъ всъхъ дачь, что встрътились на пути – самая лучшая.

Съ замирающимъ сердцемъ я расплачиваюсь съ извозчикомъ и иду къ дачѣ. Изъ за угла дачи вывертывается прислуга, знакомъ прошу ее остановиться, потомъ подхожу къ ней и прошу доложить.

Она уходитъ и, возвращаясь, просить обож-

дать. Я сажусь подътвиь деревьевь на скамью. Тишина, сухой воздухъ, въковыя деревья, за стволами которыхъ не видно границъ этой дачивсе здъсь располагало къ глубокому раздумью.

— Да, при такой обстановкѣ хорошо творить,—подумалъ я и почувствовалъ невыносимую боль оттого, что, а я вотъ скитаюсь, дрожу за потерю угла, гдѣ за стѣнами не считаются съ тѣмъ, что тебѣ нужна тищина, гдѣ передъ единственнымъ окномъ торчитъ брандмауеръ.

Замираніе сердца у меня исчезло. Холодно и спокойно я ждалъ человѣка, котораго такъ долго мнѣ не удавалось уловить.

Потомъ впалъ въ то тяжкое раздумье, когда высота любой трагедіи, даже и личной, не ужасаетъ, когда чувствуешь только одно, что ты страшно усталъ, что тебѣ нуженъ отдыхъ.

И жадно я дышаль этимъ сухимъ воздухомъ, жадно смотръль на въковыя деревья, жадно вслушивался въ тишину: еще можетъ быть, пять или десять минутъ и я уйду изъ этого чуднаго уголка, что бы его никогда не увидъть.

Въ забытье отдыха, боли, тоски впалъ я-и не замътилъ, какъ подошелъ ко мнъ Горькій.

Я очнулся отъ его грубаго баса:

— Что угодно?

Поднимаю голову—и растерялся. Здоровый дътина въ бълой фуражкъ, въ голубой рубахъ, въ сапогахъ, съ полнымъ лицомъ, подернутымъ розовымъ загаромъ: смотрю на это лицо—такое

^{*)} Этихъ писателей я больше не видълъ. Видълъ много иныхъ—изъ тъхъ, которые дали мнъ понять, что такіе, какъ Вейнбергъ и Потапенко—это уже послъдніе изъ могиканъ. Разсказа своего мнъ не припплось читать въ «Живописномъ Обозръніи», ибо оно пріостановилось за недостаткомъ средствъ и, все таки человъкъ, при видъ нуждающагося не могъ не отдать приказанія выдать изъ кассы послъднія деньги! Это уже—послъдніе изъ могиканъ!

далекое отъ того, какимъ оно изображалось на открыткахъ—безъ морщинъ, нътъ на немъ той осунутости, того глубокомысленнаго, мучительнаго въ своей напряженности, выраженія, —смотрю на это полное, здоровое лицо и думаю: «А въ газетахъ писали, что здоровье его плохое. Такъ отлично выглядитъ».

Припоминаю одного столяра: если поставить ихъ рядомъ—долго обоихъ нужно знать, хоро-шенько вглядъться, чтобы не смъшать.

Я растерялся—и, хотя чувствоваль, что передо мной подлинный Горькій, что вопросъ мой нельть, и все таки спросиль:

- Вы, Алексъй Максимовичъ?
- Я. Что угодно?

Вынимаю изъ кармана свои рукописи и за-

- Прівхаль къ вамъ съ тьмъ, чтобы искать у васъ поддержки

Онъ знакомъ руки повелъ меня за собой. Усълись мы на террасъ. Посмотрълъ Горькій на мои писанія—мелькомъ въ начало, мелькомъ въ конецъ—и медленно пробасилъ:

-- Писать вы можете.

Я смотрълъ на него: вотъ человъкъ, въ котораго я питалъ такую большую въру, человъкъ—моя первая и послъдняя надежда.

Онъ помолчалъ, а потомъ:

— Разскажите мнѣ о себѣ подробно, какъ жили, почему надумали заняться писательствомъ?

Мить этотъ вопросъ не понравился, — онъ звучаль грубо, тономъ допроса, жесткимъ сознаніемъ, что съ загнаннаго жизнью можно требовать и такой исповъди, которая ему тяжела и непріятна: врешь, хочешь-не хочешь, а скажешь, — а я послушаю!

Напомниль мнѣ этотъ вопросъ и батюшку: тоже требовалъ подробностей — а что сдѣлалъ?

Я началь говорить о себь подробно—холодно, спокойно, думая въ это же время: «Ну, что же, льзь и ты, льзь въ самую глубину души, а что дашь взамънъ—посмотримъ!

Потомъ вспыхнулъ было горячій порывъ оборвать эту вынужденную исповъдь, — сказать Горькому о томъ, что когда то онъ для меня былъ благоухающимъ цвъткомъ души, нетлъннымъ цвъткомъ, но время, но мытарства, пережитые, пока, я его уловилъ, отравили этотъ цвътокъ, заставили его поблекнуть; сказать, что когда-то я шелъ къ нему, какъ къ духовнику, облеченному въ ризу писателя, когда несъ свою исповъдь самъ—сказать и попросить: верните мнъ, если можно, то, что было, не дайте горечи сознанію моему, что всъ наши прекрасныя надежды—только самообманы, злобный хохотъ настоящаго надъ былыми заблужденіями!

Вспыхнулъ этотъ порывъ и погасъ: большими, тяжелыми, буквально звъриными глазами такого крупнаго звъря, который чувствуетъ свою мощь и презираетъ находящагося передънимъ малень-

каго звѣрька за его безсиліе—такими глазами смотрълъ на меня Горькій.

Но, вѣдь, безъ этого человѣка—гибель, онъпослѣдняя надежда! Я продолжалъ подробности о себѣ,—Горькій слушалъ, а затѣмъ—выкинулъ нѣчто еще почище звѣриныхъ глазъ:

— Не могу вамъ ничѣмъ помочь.

Я оборвалъ исповъдь о себъ, — онъ попро-

— Нѣтъ, вы еще о себѣ поразскажите.

Я разсказываю еще—съ мукой въ душѣ, со взрывомъ негодованія, но искренно, одну только правду, не сгущая, и не прикрашивая ея.

Онъ вновь повторилъ:

Не могу вамъ ничъмъ помочь.

Еще разъ я имѣлъ силы съѣсть молча такое блюдо, а когда онъ мнѣ преподнесъ его въ третій разъ—я оборвалъ рѣзко подробности, рѣзко всталъ и рѣзко бросилъ:

— Прощайте!

Всталъ и онъ:

- Постойте. Развъ уже ничего еще не скажете?
- Къ чему говорить, когда вы заявляете, что ничъмъ помочь не можете? У васъ «Знаніе», вы имъете въ литературъ такой въсъ—и не върю я, что вы безсильны помочь. Прощайте!
- Постойте. Къ какому времени вамъ просмотръть ваши вещи?

Я помодчаль: быль поражень переменой дица

Горькаго, — онъ смотрѣлъ на меня съ тихой улыбкой участія. *)

Потомъ отвътилъ:

- -- А это сообразуйтесь со своимъ временемъ.
- Хорошо. Я вамъ дамъ отвътъ черезъ недълю.

Я повториль ему то, что говориль Петрову:

— Если найдете у меня дарованіе поддержите меня до конца; не найдете мнѣ ничего отъ васъ не надо.

Онъ помодчалъ, пристально вглядываясь въ меня, потомъ взялъ мою руку, и, разсматривая обезображенныя суставы, говорилъ:

 Однако у васъ и ревматизмъ. Васъ надо лечить.

Я ничего не сказалъ. Онъ спросилъ:

- Денегъ вамъ надо?
- Если можно-рублей десять дайте.

^{*)} Поэже, когда этого писателя имъть возможность наблюдать лично, когда вчитался въ его произведенія—я поняль, что «звъриные глаза» и заявленія о невозможности помочь—это своеобразное испытаніе «на личность» въ духъ Горькаго. Тоть человъкъ, который задавленъ жизнью до того, когда утрачивается гордость, когда въ попыткахъ ухватиться за жизнь переносять грубыя униженія, унижаются сами—такой человъкъ, хотя-бы онъ и былъ достоинъ поддержки, могъ бы еще подняться, участія въ Горькомъ не встрътилъ бы. Горькій слишкомъ субъективно смотритъ на людей. А отсюда очень часто вытекаютъ несправедливость и жестокость. Призма только моего Я— слишкомъ узкая призма,

Ушелъ и вернулся, протягивая мн вдвое больше.

Я подалъ ему руку—одновременно прощаясь съ нимъ и благодаря его. Осторожно, мягко держалъ онъ мою руку въ своей и тихо вымолвилъ:

— Вы простите, что я не жму вамъ руки. Боюсь причинить вамъ боль.

Это было сказано такъ—до глубины души этотъ человъкъ сумълъ меня вэбъсить и до глубины души сумълъ тронуть.

У меня кружилась голова. Я боялся расплакаться и поспѣшилъ отъ него уйдти.

Прошла недъля. Я получиль отъ Горькаго свои разсказы, и на поляхъ одного изъ нихъ было написано: «Изъ вашихъ разсказовъ я вынесъ впечатлъніе, что вы будете писать, какъ пишутъ многіе, но ради этого поддерживать васъ не стоитъ».

Я учелъ всю жестокость этихъ немногихъ словъ, но они не возмутили меня: жить только для того, чтобы имъть возможность поддерживать свое прозябаніе—этого я не хотълъ. Хотълось оправдать свое существованіе, чъмъ нибудь значительнымъ, но если назначительное по словамъ авторитета у меня не оказалась данныхъ,—жизнь утрачивала для меня смыслъ.

Но, къ концу недѣли я посладъ Горькому

разсказъ «Въ заводѣ». Было предчувствіе, что этотъ разсказъ болѣе содержателенъ, чѣмъ тѣ, которые я ему далъ лично и хотѣлось выждать отвѣта по поводу этого разсказа: выждать и, если и на этотъ разъ мнѣніе будетъ отрицательное, тогда...

Отвътъ получился цослъ «приписки на поляхъ» черезъ два дня—уже заказнымъ письмомъ.

Какъ не велика была моя рѣшимость ликвидировать счеты съ жизнью, но вѣдь, жизнь, какъ говорятъ, «не фунтъ изюма»,—ко дню полученія этого письма я разнервничался до того: болѣли зубы, ходилъ къ двумъ зубнымъ врачамъ и ни одинъ не могъ помочь. Два попорченныхъ зуба вырвали, а остальные здоровые—но болятъ такъ, утихаетъ одинъ, поднимается другой.

Бъсился, требовалъ рвать и ихъ: «Чортъ съ ними, умирать и безъ зубовъ можно»,—ни одинъ врачъ здоровыхъ зубовъ рвать не соглашался.

Но письмо... вотъ оно:

«Мнѣ очень пріятно сказать вамъ, что послѣдній вашъ разсказъ на много луч-ше, —проще, яснѣе, —чѣмъ первые, хотя и въ немъ есть преувеличенія, ходульность, фальшь. Люди—пестры, нѣтъ—только черныхъ сплошь и нѣтъ сплошь бѣлыхъ. Хорошее и дурное спутано въ нихъ—это надо знать и помнить. А если вы непремѣнно хотите написать идеаль-

но хорошаго челов'ька,—его надо такъ хорошо выдумать, чтобы въ немъ читатель чувствовалъ и плоть, и кровь, и в'ърилъ бы вамъ—есть такой челов'ъкъ! Но чтобы хорошо выдумывать—нужно много знать, вид'ъть, чувствовать, нужно ум'ъть изъ маленькихъ кусочковъ реальнаго, создать большое идеальное, такъ, чтобы никто не зам'ътилъ, что и гд'ъ вами спаяно, склепано и склеено.

И нужно върить въ людей, въ то, что они растутъ, становятся все лучше.

Храните мои письма, современемъ, когда вы выростите, —во что я върю, —вы, можетъ быть, хорошо посмъетесь надъ ними.

А теперь вотъ что, прилагаемое письмо вы отнесете по адресу, постарайтесь увидъть доктора лично, добейтесь отъ него опредъленнаго отвъта, попросите его отвътить мнѣ на письмо, это будетъ лучше и пріъзжайте ко мнѣ.

Вамъ необходимо вылечиться и это нужно устроить.

Пока до свиданія.

А. Пѣшковъ».

Это письмо... пока я прочиталъ его—зубной боли у меня, какъ не бывало.

Въ тотъ же день, когда было получено письмо, я побывалъ у врача, а на другой день поъхалъ къ Горькому.

Странное творилось со мной: я хотълъ убъдить себя, что мнъ нужно радоваться и испытывалъ чувство той неподавимой тоски, когда кажется, что жизнь—это только тяжесть и пустота.

Моментами я ловилъ себя на тихомъ, благоговъйномъ чувствъ: я върилъ въ Горькаго, какъ въ ту большую мудрость, которая раскроетъ мнъ меня, дастъ мнъ ясность взгляда на всъ мои смутныя представленія и запросы.

За свою судьбу я быль уже спокоень настолько, что думать о себѣ, какъ бы и послѣ Горькаго не очутится въ роли «человѣка-мячика»—объ этомъ не думаль: думать объ этомъ казалось не только смѣшнымъ, но и преступнымъ.

Горькій не продукть разложенія, не плодъвымирающихь духовно классовъ—этоть человъкъ на своей шкурѣ испыталъ все то, что ему дало толчокъ поднять знамя бунта за всѣхъ раздавленныхъ зломъ соціальной неправды. Онъ видѣлъ ту чудовищную пропасть, которая раздѣляетъ бѣдняка и богача, онъ знаетъ ядовитую остроту тѣхъ мучительныхъ положеній, когда приходится убѣждаться, что для богатаго только тотъ человѣкъ, кто богатъ, а остальные—они достойны только презрѣгія, они не люди, а нѣчто такое, что необходимо терпѣть только потому, что безъ нихъ ни обойдешься.

181

Вспыхивала страстная ненависть противъ того, что въка прошли, а положение раздавленныхъ въ сущности не улучшилось: они все такъ же порабощены, надъ ними тягот все тотъ же «древній законъ Ману».

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

Денежный мъшокъ одухотворяетъ только денежныхъ мѣшковъ, а остальныхъ-развращенная и пресыщенная всфми благами наглая тупость буржуа сверху внизъ смотритъ даже на лицо съ печатью генія!

Развертывалась жизнь, то, что я съ ужасомъ и болью впиталъ въ себя въ бытность рабочимъэто огромное, кошмарное полотно, то, что пережилось, когда пасть капитала поглотила здоровье, когда «калъка никому не нуженъ», то, наконецъ, что встрътичъ на свои попытки постучаться въ двери литературы. Всюду жизнь опахабленная, поруганная, ничего иного въ человъкъ не вызывающая, какъ злобу и ненависть, месть и разрушеніе, а въ лучшихъ сердцемъогненный гнтвъ души, ея неумолкаемо-втиный ропотъ, ея мучительно-безпокойные поиски обръсти что то, почувствовать себя на своемъ мѣстѣ: на мъстъ, гдъ чудится какая-то великая радость свътлаго отдыха, гдъ не омрачится душа скорбью за обездоленныхъ отъ рожденія и отверженныхъ до могилы.

Вспыхивала страстная ненависть и погасала, ибо надвигалось нѣчто, появленіе чего въ первые моменты всегда сопровождается мучительнонедоум вающимъ вопросомъ:

— Да отчего? Боже мой, въдь, это нестерпимо.

А грудь уже то давить, то распираеть и сжимаетъ то непередаваемое чувство тоски и безнадежности, когда надо кричать дикимъ безсмысленнымъ крикомъ или... тихо-тихо плакать.

Но не закричишь. Сдержишься. Кто пойметъ такой крикъ? Изъ нъсколькихъ тысячъ одинъ. И не заплачешь: ядъ этой тоски и безнадежности атрофируетъ слезы наружно и вгоняетъ ихъ внутрь: перем вшанныя съ живой кровью и напряженнымъ трепетомъ слишкомъ много битыхъ и слишкомъ приподнятыхъ нервъ-эти внутреннія слезы, какъ капли расплавленнаго металла, падаютъ на ледяное отчаяніе, не принося облегченія, рождая боль, боль и боль.

Потомъ опомнишься, поймешь причину такого состоянія: это ты—и всѣ, это всѣ—и ты.

Тебъ переродиться — на это не пойдешь. Жизнь принята, какъ вдохновенная молитва, какъ сказка, какъ чудо-отъ этого не откажешься. Всѣ для тебя тоже не переродяться: прочно стоятъ на своихъ китахъ.

Вотъ эта міровая ноша не по силамъ! Ибо не создащь себъ въ эти минуты ложныхъ иллюзій, не завуалишь ими чудовищнаго лица жизни: острое жало ледяного отчания съ холоднымъ безстрастіемъ вопьется въ ту тайную, до демонизма хитро сплетенную сложность, откуда вытекаетъ «судьба», вопьется и раскроетъ ту миоическую «книгу жизни», гдъ будто бы всякому заранъе «всъ предопредълено».

Раскроешь эту книгу—и ранняя сѣдина волосъ, тускнѣющій блескъ глазъ будутъ спутниками твоихъ думъ.

Не обманешь (себя, отбросишь завѣсу лживыхъ явленій и увидишь за ней притаившагося обще-человѣческаго мірового гада: онъ прячется за хаосъ отдѣльныхъ фактовъ, онъ вездѣ и всюду подъ гримомъ, подъ маской, дѣянія его—закономѣрны, фатальны: вотъ вѣнецъ, которымъ пока украшаетъ себя человѣчество!

Не обманешь себя—и утѣшаешь себя слабымъ призрачнымъ утѣшеніемъ: «Милые люди. Люди отъ вѣчности. Поборники правды и добра, просто прекрасные люди съ чистымъ сердцемъ, съ душою дѣтей—васъ такъ мало, мало, вы затерты, затеряны, вы золотыя буквы въ черной, смердящей «книгѣ жизни», вы дальній свѣтъ, тепло, грѣющее и освѣщающее живую душу иногда не видимо, издали. Милые люди, не падайте духомъ, ибо вы призваны быть—Солицемъ Земли. Велика тьма жизни, но если въ темную пропасть заглянетъ хоть единый лучъ солнца—развѣ онъ не поселитъ въ душѣ попавшаго туда надежды на спасеніе»?

Но трудно жить поклоненіемъ «милымъ людямъ,» которыхъ мало, которыхъ въ эти тяжелыя минуты не видишь, а созерцаешь тахъ, чамъ заполненъ весь міръ, тахъ, кто по своей злости и тупости машаетъ жить другимъ, тахъ отъ кого внашне стынешь, мертваешь, а внутри задыхаешься, мечешься — изступленіемъ горькаго смаха крикнуть бы на весь міръ:

— Творите «Книгу жизни». Тъшьте себя. Побольше зла, безсердечныхъ дъяній. Ставьте выше всего свое «Я», а остальное—а объ остальномъ не размышляйте. Помните одно, чему учили и учуть васъ поэты, что «прожитый день безслъдно канетъ въ въчность» и, не слушайте, когда вамъ говорятъ, что каждый прожитый день не безследно отражается въ жизни. Все воздавайте своему «Я», воздавайте вольно и невольно и не сгорайте отъ желаній созидать благо. Ибо почему-то, чемъ ни боле вы его созидаете, темъ больше ростеть то, что названо «мостить адъ добрыми намъреніями». Плодите ужасъ дикой, несчастной жизни-и ничего не бойтесь! Міръ крѣпко стоитъ: наиболѣе чистыми жертвами человъчество искупаетъ свои преступленія. Міръ не скоро дрогнетъ, ибо есть въ немъ законъ тайной, невидимой расплаты: за вину совершонную однимъ эта расплата падаетъ иногда на не винныхъ «до седьмого поколънія».

Въ такомъ состояніи я прівхаль къ Горькому. И даже больше: на этотъ разъ надвинувшіеся на меня «нівчто» усугублялось еще чівмъ-то такимъ, въ чемъ я не могъ отдать себъ отчета.

Я зналъ, что это недаромъ, что это предчувствие чего-то зловъщаго—но чего? Этого непрелугадаешь, когда оно гдъ-то впереди, когда не видишь конца той нити, которая затянется на тебъ роковымъ узломъ.

Такія предчувствія раскрываеть только жизнь. Въ дѣтствѣ, лѣть отъ восьми до одинадцати, я въ темныя лѣтнія ночи, когда весь городишко уже погруженъ въ сонъ, уходилъ въ садъ при домѣ и думалъ: «Вотъ я выросту. Пойду въ жизнь. Какъ буду жить? Что такое жизнь? Буду-ли въ ней тѣмъ, чѣмъ хочу быть?»

Юный мозгъ недавалъ отвѣтовъ на вопросы, кромѣ послѣдняго. Я страстно хотѣлъ быть врачомъ и всѣмъ домашнимъ пылко заявлялъ: буду учиться и буду докторомъ!

«Докторъ»—это для меня быль только звукъ, не имъвшій воплощенія, ибо въ этой порѣ я не видаль въ лицо ни одного доктора, но звукъ настолько почетный и соблазнительный—казалось, что выше этого званія въ мірѣ ничего нѣтъ. Иготовился я къ этому почетному званію энергично: теоретически проходилъ въ начальномъ училищъ только еще азы, а практически — неутомимо рѣзалъ лягушекъ, дохлыхъ кошекъ и собакъ. И вотъ, вопросъ о томъ, чѣмъ я буду, былъ рѣшонъ безповоротно, а остальные—и жутью и не ясными заманчивыми соблазнами вѣяло на меня изъ темноты.

Наростала внутри необходимость выражать свои переживанія.

Много я въ эту порууже зазубрилъ стиховъ, но для выраженія у меня было только одно— Кольцова.

Запаваю робко, тихо:

«Надо мною буря выла. Громъ по небу грохоталъ. Слабый умъ судьба страшила Холодъ въ сердце проникалъ.»

Смыслъ этихъ четырехъ строкъ для меня теменъ. Какая «буря», какой «громъ», что за «холодъ»—все это для моего дътскаго ума не только непостижимые символы, а нъчто большее.

Мнѣ кажется, что я творю страшный вызовъ, я бросаю заклятіе, и... вотъ, вотъ разразится внезапно буря, грянетъ громъ, а молнія за мою дерзость поразитъ меня на смерть!

Жду въ трепетномъ ужасъ—но ничего нътъ. Темное, безстрастное небо—великой тишиной и великимъ покоемъ въетъ оттуда и будитъ во мнъ экстазъ молитвы за это темное, безмърное небо, за обаяние темной ночи.

Ничего нѣтъ. Но предчувствіе чего-то большого и грознаго, смотрящаго на меня изъ темнаго безмолвія спящаго города не покидаетъ меня: чувствую я своимъ маленькимъ сердцемъ, что отъ этого тайнаго врага мнѣ не уйдти, съ нимъ я неизбѣжно долженъ встрѣтиться и имѣть смертельно-напряженную борьбу. И гордо, вдохновенно, во всю силу легкихъ бросая вызовъ этому врагу—я продолжаю:

Но не паль я оть страданья: Гордо выдержаль ударь Сохраниль въ душѣ желанья. Въ тѣлѣ силу, въ сердцѣ жаръ.

И въ горъ и въ радости я часто вспоминалъ это дътское предвидъніе.

Вспомнилъ его и теперь. Долго стоялъ передъ воротами дачи Горькаго—и стараясь хоть сколько нибудь успокоить себя, думалъ:

— Все сбылось. Много и гордо различныхь ударовъ и бурь пережилъ, желанья въ душѣ сохранены, сердце знакомо съ холодомъ тоски и безнадежности, но есть въ немъ еще и жаръ,—иногда, пожалуй, слишкомъ пылкій, неугомонный,—одно только не сохранено: въ тѣлѣ сила! Проклятый недугъ. Источникъ моихъ бѣдствій, униженій, ради осуществленій, «желаній души», желѣзная пята для моей гордости, тупикъ, гдѣ гибнетъ былая отвага. Не поживешь уже захватомъ, какъ бы высмотрѣть въ жизни чорта поважнѣе, да побольше и не задумываясь много схватить его прямо за рога! Куда ужъ тутъ: будь всегда и вездѣ на сторожѣ, какъ бы самого не раздавили.

Долго стояль я такъ и, когда пошелъ—тяжести мнъ не удалось съ себя скинуть.

— Вотъ оно прошлое — то, говорилъ я себъ: — Забитъ, забитъ до того, что мучаешся невъдомо

надъ чѣмъ. Вѣдь, глупо бояться «чего-то» Мытарства теперь кончились, надо бы духомъ подняться, а я создаю себѣ какіе-то ни на чемъ неоснованныя страхи. Если такъ жить—многаго въжизни не сдѣлаешь. Если такъ жить—лучше не жить.

Горькій вышель ко мнѣ, очевидно оторвавшись только что отъ работы: лицо его выражало раздумье.

— Здравствуйте. Ну, были у доктора?

Я сказаль, что этоть докторъ съ мѣсяцъ назадъ уѣхаль въ старую Руссу.

— Вотъ что! Какъ же теперь быть-то?—и онъ медленно началъ ходить изъ угла въ уголъ по террасъ.

Отъ спокойно-самоувъренныхъ движеній и кончая способомъ выражаться—все въ этомъ человъкъ было полно тъмъ значеніемъ, которое говоритъ, что этотъ человъкъ знаетъ себъ цъну.

Потомъ онъ остановился предо мной:

- Какъ же теперь быть? Лечебный сезонъ идетъ къ концу, а полечиться вамъ въ этомъ же году необходимо.

Я подумалъ и съ чувствомъ, точно дъло касалось совсъмъ не меня, высказалъ:

- A если мнъ прямо ъхать въ Руссу? Горькій подхватилъ:
- Вѣрно! Такъ и сдѣлаемъ. Подождите меня. Сейчасъ я принесу все для этого нужное.

Онъ ушелъ. Съ минуту я вслушивался въ тишину, вглядывался въ застывшую отъ безвѣтрія зелень деревьевъ, и съ чувствомъ тихой, благодарной радости думалъ:

— Вотъ, уже и лечиться. Какъ все это просто, скоро. Такъ поступаетъ только настоящій человѣкъ; только тотъ, кто твердо уясняетъ себѣ, какъ необходимо воплощать слово въ дѣло; только тотъ, кто проникновенно смотритъ въ жизнь и видитъ, что ея страшный видъ это не рокъ свыше, это не неустранимое, а роковыя послѣдствія насилій и надругательствъ одного надъ другимъ, это слека, такъ въ добрыя минутки брошенныя словечки, но невыполненныя въ дѣло, это позорный разладъ совѣсти съ жизнью, крайняя безотвѣтственность одного передъ другимъ, торжество внѣшняго человѣка надъ внутреннимъ.

А потомъ... потомъ дрогнула моя тихая, благодарная радость и исчезла. Опять я былъ во власти зловъщаго предчувствія; оно ясно говорило мнѣ, что это ни раздерганныя нервы, ни мнительность, ни забитость—такимъ безсильнымъ, ничтожнымъ, раздавленнымъ я чувствовалъ себя передъ этимъ злымъ пречувствіемъ, гдѣ нечего и думать о борьбѣ: надо капитулировать!

Мысль моя въ эти моменты была въ полной паникъ. Я жилъ, чувствовалъ, видълъ инстинктомъ: казалось, что съ шумомъ и свистомъ мчится на тебя какая то страшная тяжесть;

откуда налетить — спереди, сзади — этого не знаешь; но налетить и сразу не пришибеть, не раздавить, нътъ, а будеть истязать, дастъ чудовищно-длительную агонію.

И боязнь передъ этой агоніей была такъ велика, что смерть казалась благомъ. *)

Глазами смертельной тоски я впивался въ зелень деревьевъ, остро-напряженнымъ слухомъ жадно ловилъ тайную жизнь тишины — съ по корной скорбью, я слалъ всему этому прощальный привътъ и внутренній голосъ со всею силою отчаянія, но подавленнаго уже примиреніемъ, кричалъ мнъ:

— Какъ все это ты любилъ. Какъ все это ты любилъ!

Какъ въ послѣднія предсмертныя минуты — вся жизнь выявилась со всѣми своими огромными мученіями и съ маленькими, ничтожными радостями, радостями минутъ, дня — не больше; большое счастье все грезилось впереди—и вотъ, когда кажется подходишь къ нему—все рушиться. Любимыя мечты о писательствѣ, любовь той, которая перебивается на грошевыхъ урокахъ и убѣждаетъ, что ей деньги совсѣмъ не нужны, святая, вѣчная любовь—молитва величію и красотѣ мірозданія — все это надо оторвать отъ души и сердца, всему сказать послѣднѣе «Прости!»

^{*)} Это предчувствіе не обмануло меня. Мнѣ дали такую-Голгову, передъ которой смерть—благо.

Вошель Горькій.

Все во мнѣ вдругъ оборвалось; все такъ застыло, когда страннымъ кажется, что ты можешь говорить, двигаться: чудится, что ты уже переступилъ какую то важную грань жизни — туда, въ ту-потустороннее.

Горькій быль оживлень, съ ласковой улыбкой на лицѣ. Вошелъ, положилъ передо мной на столь деньги и письмо и, съ мягкимъ тепломъ въ голосѣ, забасилъ:

— Вотъ и готово. Вотъ вамъ деньги; пока маловато, больше не нашлось, но какъ только прибудете въ Руссу — телеграфируйте адресъ и я вышлю еще; вотъ вамъ письмо къ доктору. Лечитесь, а когда кончите, прівзжайте комнь.

Я совершенно не отдавалъ себъ отчета въ своихъ дъйствіяхъ.

Холодными, безжизненными глазами я взглянуль на Горьчаго и, безъ малъйшей мысли объ этомъ, у меня вырвалось:

— Алексъй Максимовичъ, стоитъ-ли?

Онъ уставился на меня недоум вающимъ взглядомъ:

— О чемъ вы говорите?

Я высказаль, что стоить-ли мнѣ лечиться, что не будеть-ли это только тратой денегь, что, можеть быть, я такой никудышникь, которому вовсе не слѣдуеть лѣзть въ писательство.

Онъ спросилъ:

— А если не будете писать, что же тогда танете лълать?

Я чувствоваль всю красоту этой минуты, когда толной рышимостью принимаешь смерть по одному только слову человыка. Смыло и холодно встрытился съ взглядомъ Горькаго—острымъ, напряженнымъ,— и выдерживая этотъ взглядъ, котыль сказать: «Умирать.»

Это слово звенѣло во мнѣ, казалось, что оно вырвется въ повышеномъ тонѣ, но должно быть, рѣчь о смерти въ такихъ случаяхъ нѣчто такое, гаѣ можно только чувствовать, но не говорить. Но надо же, вѣдь, говорить, когда самъ завелъ объ этомъ рѣчь.

И съ величайшими усиліями — очень тихо и едва внятно, съ наплывомъ до этого невъдомыхъ тончайше неуловимыхъ чувствъ, гдѣ и благоговъйный восторгъ и благоговъйная робость, какъ бы грубо не коснуться какого-то смутноогромнаго величія и какой-то чудесной въ своемъ пъломудріи ослъпляющей бълизны, — тономъ, интонацію котораго я потомъ никакъ не могъ воспроизвести, я отвътилъ:

— Умирать.

Что-то съ меня спало — и уже въ упоръ смотря на Горькаго, я громче и смълъе добавилъ:

— Если это для меня лучшее,— скажите мнъ объ этомъ прямо.

Горькій опустиль голову, помолчаль, потомь, тоже очень тихо, спросиль:

— Почему вы объ этомъ заговорили? Почему?

Холодными, безжизненными глазами я смотрыть на Горькаго и говориль. Говориль скучнымь, монотоннымь голосомь о томь, что пережиль въ Нижнемь, какъ и кто тамь ко мнѣ отнесся, потомъ, какъ завязались мои сношенія съ «батюшкой», и чѣмъ кончились.

Говорилъ не затрудняясь, уже готовыми, выстраданными словами — и то, что такъ недавно вызывало и гнѣвъ, и боль, и горечь, — отдавало только привкусомъ больной, безрадостной печали. Слишкомъ ужъ это въ эти минуты было обыденнымъ, земнымъ и, гдѣ не себя жаль, а тѣхъ надеждъ, которые приподнимали тебя и того человѣка немного въ высь — немного отъ земли къ небу!

Батюшку я строго не обвиняль; я подчеркнуль только то, что, можеть быть, по малодушію онь не могь мнѣ прямо заявить объ отсутствій у меня дарованія и, что бросая меня, онъ тоже, можеть быть, быль правъ, но должень быль это сдѣлать не «втихомолку», а имѣть мужество заявить мнѣ объ этомъ въ лицо.

Потомъ сказалъ, что знаній, даже самыхъ необходимыхъ писателю, — у меня нуль, что чувствую, какъ много нужно учиться, работать надь собой, а силъ мало: и болѣзнь, и нужда и люди подъ ѣли.

Я кончилъ. Горькій задумался.

Съ трепетомъ я ждалъ его рѣшенія. Тяжесть пережитаго и того, что придется пережить—въ эти минуты я остро видѣлъ всѣ шипы жизни, на которые неизбѣжно будетъ колоться самый счастливый человѣкъ изъ тѣхъ, подъ которыми общепринято разумѣть «счастливыхъ людей»,—давила меня, какъ никогда.

Хотълось отдыха, покоя смерти. Я чувствоваль, что я—весь мольба, что я прошу пощады не на жизнь, а на смерть.

Знаю, что многимъ и многимъ это покажется дико, неестественно, ибо человѣкъ склоненъ просить всегда `«пощады на жизнь» и склоненъ не щадитъ ближняго своего, знаю это и говорю такимъ многимъ:

— Господа! Есть на землѣ у иныхъ полная мѣра любви. Не та, не ваша, не себялюбивая любовь, вымаливающая пошады только себѣ и вгоняющая въ гробъ другихъ—есть любовь выше своей шкуры!

Даже и теперь, когда пишу эти строки, когда отъ тъхъ моментовъ я отдъленъ значительнымъ, все притупляющимъ и со всъмъ примиряющимъ временемъ—даже и теперь я содрогаюсь отъ высоты своего чувства къ Горькому.

Мое «быть-ли мић или не быть?» врученное лобровольно человъку было ни болье ни менье, какъ «Авва Отче! все возможно тебъ: пронести чашу сію мимо меня; а впрочемъ да будеть воля Твоя».

Я ждалъ ръшенія Горькаго.

Мысль моя ужасалась: «Что ты сдълаль? Какое безуміе. Такъ долго этого человъка искать, столько претерпъть и, когда онъ найденъ, когда принимаетъ живое, подлинное участіе—ты поставилъ такой чудовищный вопросъ. Какое безуміе!»

Но мысль... Что такое мысль передъ областью чувствъ? Пигмей передъ титаномъ. Слѣпецъ передъ зрячимъ. Посохъ путника, ишущаго путей въ вѣчность.

Чувство мое грозило мнѣ какой то страшной тяжестью жизни и не слушая мысли—я хотѣлъ смерти.

Но мит вынесли иное.

Горькій, наконецъ, надумался; не поднимая головы, съ хмурымъ лицомъ, въ которомъ такъ мнѣ показалось – было порицаніе всѣмъ тѣмъ господамъ, съ которыми я сталкивался до него, онъ медленно сказалъ:

— Умирать-ли вамъ—этого я вамъ не скажу; объ этомъ вамъ не слѣдуетъ думать. «Батюшку» забудьте: онъ не авторитетъ.

Я почувствовалъ на себъ крестъ. До ръшенія Горькаго я былъ—весь мольба; послъ—когда онъ мнъ даровалъ жизнь—весь покорность.

Онъ помодчалъ и добавилъ.

— Я думаю, что черезъ годъ; черезъ два вы напишите хорошую вещь.

Опять пауза и взглядъ на меня. — И поясненіе:

— Знаете что такое «хорошая вещь?» Писатель въ три года или лѣтъ въ пять напишетъ много вещей, но если изъ этихъ многихъ создана только хотя бы одна хорошая вещь—это уже писатель изъ большихъ.

Безрадостно и молча я выслушалъ слова, прочащія меня «въ сонмъ большихъ».

Покорно я взялъ деньги, письмо къ доктору и попросилъ Горькаго указать мнѣ, что я долженъ читать.

-Чехова читали?

Чехова я читалъ, но такъ давно, что выразилъ желаніе перечесть и еще.

Горькій ушель и вернулся съ кучей книгь: книгь Чехова не нашлось, (на нихъ мнѣ дадена была записка въ к—во «Знаніе») были вручены мнѣ Антонъ Менгеръ, И. Бунинъ, и самъ Горькій, представленный двумя томами.

— Особенно внимательно читайте Чехова. Онъ изумительно писалъ! Не подражайте ему въ содержаніи, а вглядывайтесь въ него только, какъ въ художника слова; содержаніе-же у васъ должно быть свое: то, что вы на своей шкуръ вынесли и то, что вы видъли въ своей средъ. Этому должны върить. Внимательно прочтите такъ же и Менгера. Важная книга.

Молча, съ покорной тяжестью въ душѣ, я выслушалъ Горькаго.

Затемъ мы простились. Пожимая мне руку, онъ сказалъ:

 Жду васъ къ себъ поздоровъе, чъмъ теперь. Пишите оттуда.

Не легче миѣ было, когда я и поѣхалъ отъ Горькаго. Полной мѣрой я оцѣнилъ всю его трогательную заботливость обо миѣ, и, что эта заботливость, какъ другіе продѣлывали, остановится на полдорогѣ—этого мысль не допускала.

Но тяжесть, совершенно безпричинная, тяжесть грядущаго креста не покидала меня.

— Что же, можеть быть?—спрашиваль я себя:— Чего боюсь теперь, когда нашелся такой человькь? Здоровье подорвано—меня отправляють лечить. Знаній нъть — дадуть возможность учиться.

Отвъта на мою боязнь не было. А тяжесть давила до отчаянія, до безъ исходности, давила до опасенія, что если я въ своихъ страхахъ не могу отдать себъ отчета, значитъ у меня въ головъ не лално.

Явилась хитрая мысль испытать свою «мысль». Я захотьль отдать себь отчеть въ странности своего поведенія у Горькаго—въ томъ, что дъйствоваль какъ-то слъпо.

Оказалось что мысль работаеть еще надежно. Она сказала мив, что когда человькъ подавленъ предчувствіемъ и вообще всеми теми сложными и смутными внутренними побужденіями и переживаніями,—она сказала мив, что

тогда наша «гордая мысль» въ полной паникъ отступаетъ на задній планъ и не даетъ намъ ни-какихъ указаній: тогда человъкъ дъйствуетъ инстинктивно.

Она сказала мн'ь, что инстинкть живеть отъ мысли не только самъ по себъ, но и подчиняеть себъ мысль въ тъхъ случаяхъ, когда почему-либо нужно ее подчинить.

Неспособная понять мотивовъ дъйствій инстинкта, она молчить или иногда протестуєть, что всегда безрезультатно, но когда дъйствіе совершено, мысль прежде мириться съ дъйствіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, потомъ постепенно проникается важностью и цънностью этого дъйствія и, тогда-то начинается ея торжество: тогда она забываеть о силъ инстинкта, о томъ, что инстинктъ (разумъю инстинктъ высшаго порядка *) идетъ въ жизни своимъ особеннымъ путемъ и къ наиболъе скрытымъ по-

^{*)} Современная культура—время такой утонченной мысли, когда «на умныхь людей по современнымъ понятіямъ» наталкиваешься на каждомъ шагу, но натолкнуться ма мастолицаю человожа—такіе въ наше время «бѣлые слоны!» Даю поводъ посмѣяться надъ собой господамъ отъ культуры. Главная цѣнность современной культуры въ томъ, что она культивируетъ инстинкты только низменнаго порядка—инстинкты только своего «я». Инстинкты повыше—это ей не по плечу. Зато и пожинаетъ обнльные плоды: свиней въ жизни не оберешься. Мало у человѣчества остается цѣнностей отъ вѣчности: вмѣстъ съ падалью свиньи не вадумываясь кушаютъ и святымю!

знаніямъ, *moida* она кричитъ, что человъкомъ руководитъ только она одна: она — «всеобъемлющая мысль!»

И вотъ эта-то «всеобъемлющая мысль» торжествовала. Инстинктъ самосохраненія поставилъ высшую форму гарантіи, а мысль все приписывала себъ:

— Пойми, чего бояться? Вѣдь, при томъ, что было, смерть была свидѣтель!

Доводъ казался сильнымъ, а тоска и тяжесть не уменьшались; съ ними я добрался до дому и до вечера страдалъ-то съ тупой покорностью, когда чувствуешь какъ глаза твои умоляюще блуждають по предметамъ, то съ бъщенствомъ. Тогда я представлялъ себъ городъ, его людей, не подлинныхъ, а подмѣненныхъ имъ, и со страстью ненависти хотълось:

— Да, да, надо войти въ этотъ міръ; надо узнать, гдѣ въ немъ кроются Каины духа и тѣла; войти въ этотъ міръ тихенькимъ, незамѣтнымъ: для того, чтобы высмотрѣть, гдѣ у этихъ господъ Аххилесова ията. О, не бойтесь! варваръ, который сумѣетъ понять васъ—почему вы допускаете, что этотъ варваръ не сможетъ понять истинныхъ пріобрѣтеній вашей культуры и сохранить ихъ? Не бойтесь. Истинно избранные останутся избранными, а тѣ что явились незваными, тѣ что изъ крови и пота массъ создаютъ себѣ пышный и безконечный пиръ жизни... вотъ ихъ надо спросить, почему они сверху

внизъ смотрятъ на задавленныхъ, спросить объ особой справедливости, объ особой логикѣ, объ особомъ правѣ... вообще о томъ, что всегда и вездѣ даетъ имъ первенство, взятое хитростью, обманомъ, насиліемъ... Нельзя такъ жить! Что мнѣ дали? Не дали пока ничего, а душу отравили. Жизнь—уже пытка, ужасъ, судорожныя метанія на смерть раненаго звѣря. И развѣ я одинъ? Тысячи, милліоны такъ мечутся.

И такъ глубоко въ эти минуты ненависти я върилъ въ своего учителя—въ Горькаго:

— Онъ глубже раскроетъ мнѣ этотъ міръ... Онъ научитъ меня писать голосомъ неотразимой жизненной правды...

А вечеромъ я получилъ письмо отъ той, которая такъ щедра съ грошевыхъ уроковъ. Сразу во мнѣ упадокъ, сразу затишье и бодрость. Я написалъ ей отвѣтъ, гдѣ говорилъ, что у меня все идетъ такъ, когда лучшаго и желатъ нечего, что «сегодня у меня самый счастливѣйшій день моей жизни: но и самый отвѣтственный: я долженъ оправдать заботы Горькаго о себѣ.

А на другой день я отправился къ мѣсту своего леченія.

Полтора мѣсяца я пролечился. И все это время прошло не легко.

Въра въ человъка, побитая людьми до Горькаго, давала себя чувствовать слишкомъ мучительно. Очень пуганная ворона не только куста боится, но и создаетъ себъ ихъ: деньги миъ Горькій выслаль, но на мои письма не отвѣтиль мнѣ ни одной строкой—и это вселяло въ меня уже ясную мнѣ боязнь, что какъ бы онъ не поступиль со мной какъ и другіе.

Мучился я за это чувство стыдомъ за себя, утѣшалъ, что у человѣка и работы много, и корреспонденція поважнѣе, чѣмъ къ моей особѣ, и все таки не могъ вытравить изъ себя эту боязнь.

Она жила во миф неотступно; если я пытался выискать что нибудь противъ нея—она сейчасъ же находила «за» за себя.

Напримѣръ, я читалъ его книги: чтобы почерпнуть вѣру въ него, вернуть былое — отъ нихъ на меня вѣяло той твердостью и опредѣленностью убѣжденій, которыя застыли въ жестокихъ формахъ и, вѣрнѣе всего говорятъ объ отчужденности отъ жизни и человѣка.

Тогда я отбрасываль его книги, брался за другія—боль родили и другія. И тѣ и другія—оторванность отъ жизни: въ однѣхъ «ничего въ человѣкѣ, ничего для человѣка, все для моего «я»; въ другихъ это «я» уже съ рѣжущей откровенностью: «все въ человѣкѣ, все для человѣка!»

Я отбрасывалъ книги:

— Ни то, ни другое. Человъкъ ползающій по земль, стонущій, страдающій никогда не примирится съ тьмъ, что «для него ничего» и «въ немъ ничего»... Никогда не примирится. Не нужно намъ такъ же и гордыхъ фразъ.

Къ чему онъ? Если ты не забылъ, что такое весь міръ — прошлый, настоящій, грядущій, съ милліардами умершнхъ, живущихъ, имѣющихъ жить, — если ты не забылъ этого, ты никогда не скажешь себъ: «все въ человъкъ, все для человъка!» Это ложь. Или то самоослъпленіе, когда не желаешь или не можешь видъть до какихъ границъ человъкъ вправъ считать себя на землъ свободнымъ и гдъ границы, гдъ онъ долженъ подчиняться необходимости.

Такими фразами можно упиваться какъ музыкой, возноситься въ высь, но затъмъ, чтобъ больно оттуда шлепнуться. А когда шлепнешься, то, пожалуй, и не скажешь себъ: «все во мнъ, все для меня, да здравствуетъ, молъ, царь земли—человъкъ!» Нътъ, — посмотришь взадъ и впередъ, оглянешься по сторонамъ — и не скажешь. Задумаешься!

Отдыхаль я на одномъ только Чеховѣ. Онъ не морализировалъ, не проповѣдывалъ, не говорилъ лишнихъ и ненужныхъ словъ, но его тонкій и длинный бичъ стегалъ человѣческое ничтожество и пошлость глубже и больнѣе всѣхъ. Въ минуты наиболѣе глубокой тоски я браль его книги и шелъ въ паркъ курорта. Здѣсь въ обычные часы весь курортный съѣздъ въ сборѣ; нѣсколько сотъ людей и всѣ почти знаютъ другъ-друга въ лицо.

Прежде я удивлялся: большинство вившне цвътущіе здоровьемъ люди—и ъдутъ лъчиться? Чъмъ больны?

Потомъ пересталъ: безнадежно больные духомъ! Горькіе герои Чехова. О чемъ онъ имъ съ тоскою и болью говорилъ? О нихъ же. А они читали его прежде гнали, потомъ стали похваливать и говорить, что «интересенъ, но мало отражаетъ общественность».

Безнадежно больные духомъ, которые вмѣсто того, чтобы вглядываться въ себя жадно ишутъ только оправданія собственнаго ничтожества въ другихъ. Въ общемъ,— не жизнь, а несчастная въ своемъ уродствѣ суета. Никто не поднимется надъ этой суетой. Противъ чего надо протестовать — не видятъ, а если и видятъ — молчатъ. До того-ли? Временное, случайное, низменное пройдетъ мимо, если его не ловить. Во что бы то ни стало, какъ можно побольше воздатъ «Кесарево Кесарю», а «Божье Богу?!»— намъ не до того, пусть этимъ занимается кто хочетъ.

Попробуйте говорить имъ, что жизнь полна страшныхъ истинъ и, если этимъ истинамъ не заглядывать во время въ лицо — онъ не оставять себя безъ расплаты, —нишіе духомъ отвернутля отъ васъ.

Скажите имъ, что безъ совъсти жить нельзя, что только она одна, когда она встаетъ въ человъкъ во весь свой ростъ, утвержденіе, что человъкъ не звърь и не себялюбивая дрянь—скажите имъ: они обидятся и возненавидятъ васъ.

Попытайтесь подойти къ нимъ со всей силой смиренія души—они обдалутъ васъ презритель-

нымъ высокомъріемъ и, нищій изъ нищихъ духомъ поставить себя выше, чъмъ стоите вы.

Это злобное, тупое стадо, которое по своей злости и тупости отравляеть жизнь и себъ и другимъ.

Созидать цѣнное для настоящей жизни—этого они не могутъ въ себя вмѣстить; работать ради будущихъ поколѣній, гдѣ бы многіе имѣли право своимъ существованіемъ сказать: «Я не подмѣненный, а подлинный человѣкъ»—это для нихъ пустой звукъ, звукъ не дающій никакого представленія.

Къ концу леченія я отослаль Горькому вновь написанный разсказъ. Разсказъ — плодъ моей боязни. Вотъ она зависимость то: и лечился и трепеталь, чтобы какъ бы вновь не очутиться въ роли рака на мели—и все-таки писалъ. Писалъ судорожно, съ цѣлью поскорѣе опредѣлить свое положеніе: вновь-ли получить подтвержденіе, что ты не бездаренъ, или сложить оружіе. Разсказъ сопроводиль письмомъ, гдѣ опять говорилъ, что сомнѣваюсь въ цѣнности своихъ произведеній и опять повторялъ, что не лучше-ли будетъ, если мнѣ бросить писать.

Леченіе кончилось. Въ послѣднихъ числахъ августа я прибыль къ Горькому. Прислуга провела меня въ небольшую комнату и попросила обождать. Горькій не появлялся съ четверть часа; и эти четверть часа были для меня вели-

чайшими, но безплодными усиліями надъ собой.

Я чувствоваль, что я очень холодень, очень сухъ и сдержань; такимъ быть вообще не подобаеть, когда тебѣ благодѣтельствують: благодѣтели любять благодарныя лица. Но тутъ мнѣ хотѣлось быть инымъ—по другимъ причинамъ; вѣдь я этого человѣка любилъ полной мѣрой! А такая любовь создаетъ грезы не о такихъ отношеніяхъ: къ любимому надо идти со свѣтлымъ лицомъ, а не съ тѣмъ мрачнымъ отпечаткомъ, который наложили на твое лицо другіе.

Тихо я бродиль изъ угла въ уголъ по комнатѣ и, чувствуя, что себя мнѣ не побороть, мучительно думалъ надъ странностью отношеній.

Такъ я любилъ этого человѣка издали, такъ безгранично въ него вѣрилъ, но когда встрътился съ нимъ — ни отъ кого я не былъ отгороженъ такой тяжелой стѣной, какъ отъ него!

Что это такое? Любовь цѣла, а вѣра въ любимаго колеблется? И колеблется безъ всякихъ основаній? Какихъ же еще доказательствъ мнѣ надо?

Но вопросы оставались вопросами, а внутренияя пытка росла. Было въ ней и инстинктивное сознаніе своей правоты и мысленное сознаніе, *) что я сталъ ни что иное, какъ дрянь, что люди предшествовавшіе Горькому изломали меня въроятно непоправимо: меня сдълали ничтожествомъ, я калъка—не только тъломъ, но уже и духомъ—у меня разбили въру въ человъка!

И острый стыдъ пронизывалъ меня.

Воть онъ сейчасъ войдеть. Какъ я взгляну ему въ глаза?..

Но, когда вошель Горькій—стыдъ мой исчезъ, исчезла также холодность, сухость, осталась нѣ-которыя сдержанность, но сдержанность естественная, непринужденная. И здороваясь съ нимъ, я прямо ему взглянулъ въ глаза—взглянулъ кротко, тихо, съ яснымъ чувствомъ, что я воспиталъ въ себѣ къ этому человѣку необъятную, благоговѣйную любовь, а одновременно и съ другимъ чувствомъ—непонятнымъ для меня: съ такой глубокой, смертельной тоской я взглянулъ на негосъ такой тоской смотрятъ только люди съ сердцемъ разбитымъ печалью...

• Все во мить замерло. Печаль моя во мить выше всего.

Онъ спросилъ меня, что не чувствую-ли я себя лучше послѣ леченія. Я отвѣтилъ, что по мнѣнію врачей, благотворные результаты леченія наступають не сразу, а постепенно, что одного этого курса для меня недостаточно—это только начало леченія.

Поднятый вопросъ близко касался меня, а я говорилъ о немъ машинально, тъмъ тономъ, когда передаютъ чужія слова только затъмъ, что ихъ нужно передать. Потомъ Горькій какъ-то внезапно спросилъ:

^{*)} Мысль всегда и везять унижаеть человъка.

[—] Что вы думаете теперь дълать?

Я сказаль, что мит хотълось бы имъть какое нибудь мъсто.

Онъ подумалъ—и медленно и увъренно сказалъ— Я васъ устрою въ художественный театръ. Но это потомъ, а теперь слъдуетъ васъ отправить въ Ялту. Здъсъ осенніе мъсяца для васъ будутъ тяжелы, а тамъ ихъ легче переживете. Море тамъ посмотрите: это вамъ тоже нужно.

Помолчалъ.

— Опредъленно пока этого не объщаю Но если на дняхъ получу изъ-за-границы деньги, тогда такъ и сдълаемъ. Оставьте свой адресъ. Денька черезъ три вопросъ о деньгахъ у меня выяснится—тогда я вышлю вамъ деньги и письмо къ одному писателю въ Ялтъ: чтобы онъ васъ получше тамъ устроилъ.

Я далъ адресъ, поблагодарилъ. И спросилъ относительно разсказа, посланнаго изъ Руссы.

 Пока его не читалъ. Но въ скоромъ времени прочту.

Затъмъ мы простились.

Я вполнъ оцѣнилъ такую тонкую, трогательную прелусмотрительность, что въ Ялтѣ осень мнѣ пережить легче: я говорилъ себѣ, что получая новыя и новыя подтвержденія человѣчности этого человѣка, я долженъ откинуть всѣ сомнѣнія о немъ, я долженъ въ него вѣрить безъ единой дурной мысли о немъ И я вѣрилъ. Но не долго. Пять дней я прожилъ въ ожиданіи отъ него извѣстій, испытывая тихую радость, что есть человѣкъ, который не броситъ

меня безпомощнаго, но эту тихую радость давила печаль, огромная, смутная печаль.

А уже послѣ пяти дней началъ тревожиться. Прошла недѣля, наступила другая, и она шла къ концу—а отъ Горькаго никакихъ извѣстій-

И опять что-то зловъщее, опять дикія мысли, въ которая и самъ не въришь, а мучаешься, что и этотъ броситъ, забудетъ какъ забыли другіе.

— Объщался написать черезъ нъсколько дней—и до сихъ поръ ничего! Чъмъ объяснить?

Эта фраза и этотъ вопросъ мучили меня подъконецъ второй недъли безъ устали, даже во снъ. И во снъ я повторялъ то заключение, къкакому приходилъ днемъ:

- Невыносимо... невыносимо такъ жить!

Объяснение потомъ нашлось. Очень простое.

Горькій перепуталь адресь и, когда шли справки въ адресномъ столъ, деньги лежали на главномъ почтамтъ.

Но получивъ деньги я почему-то не получилъ ни отъ Горькаго письма, ни письма къ писателю въ Ялтъ.

Ђду къ нему и не удачно: онъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ останется на всю осень и зиму.

Эти свъдънія дають мнъ прежде мысль написать ему, что нужнаго письма я почему-то не получиль, но потомъ эта мысль смъняется ръшеніемъ тахать тоже въ Москву.

И я ѣду.

Все сложилось такъ, какъ я желалъ.

Встрѣча вышла мягкой и теплой. На мон объясненія, какъ я получилъ деньги, но совсѣмъ не получилъ письма — Горькій съ улыбкой упрека себѣ покачалъ головой:

- Адресъ перепуталъ? Какъ же это я такъ? Ну, бъда поправима: напишемъ другое письмо. Набираясь ръшимости, я немного помолчалъ.
- Алексъй Максимовичъ, у меня къ вамъ просьба: если это можно нельзя-ли мнѣ въ Ялту не ѣхать? Я хотъъ бы остаться здъсь.

Горькій немного удивился:

— Почему? Ну. и человѣкъ. Тамъ—море! Кромѣ моря— какая природа... А главное—климатъ. Здѣсь скоро наступятъ дожди, слякотъ; вамъ съ такимъ ревматизмомъ плохо здѣсь будетъ.

«Почему?»

Не объяснять же ему, что меня преслѣдуеть какая-то манія невѣрія, что я могу чувствовать себя спокойнѣе лишь тогда, когда насъ не отдъляеть большое разстояніе?

Вновь я помолчаль и тихо отвътиль:

— Мнѣ хотѣлось бы быть поближе къ вамъ. Черта хорошихъ натуръ—это очень скромно, лаже стыдливо принимать выраженія хорошихъ чувствъ въ себѣ и стыдливо выражать свои чувства такого же порядка.

Эта черта есть у Горькаго. Взглядъ съ моего лица онъ перевелъ въ сторону; лицо его подернулось мягкой дымкой смущенія и, тоже тихо онъ сказаль:

- Тогда оставайтесь здѣсь. Неволить грѣхъ. И уже съ веселой улыбкой:
- Вотъ, какъ наступитъ слякоть тогда и пожалъете объ Ялтъ.

Я тоже улыбнулся:

- Нѣтъ, не пожалѣю. Сейчасъ иду комнату себъ искать.
- Идите. Комнату ищите хорошую, не сырую. А когда устроитесь, сообщите адресъ.

Принимая въ разсчетъ свои никудышныя ноги, я комнату нашелъ себъ, какъ разъ противъ художественнаго театра: недалеко ходить, когда Горькій устроитъ меня въ него на какое-нибудь дъло!

Сообщиль Горькому адресь и засѣль за работу. «Надо работать». — Эти слова были для меня бичомъ. Чувствовалась настоятельная необкодимость продолжительнаго отдыха, но какъ думать объ отдыхѣ, когда сидишь на чужой шеѣ? Первыя три недѣли я провель въ общемъ спокойно, но дальше... Деньги, эти проклятыя деньги — они на исходѣ, и это выводитъ меня изъ равновѣсія. Опять это мучительно-гнетущее чувство, когда пойдешь за ними, опять сомнѣніе въ пригодности того, что ты пишешь. Я пишу Горькому письмо, гдѣ прошу высказать мнѣніе о томъ разсказѣ, который выслалъ ему изъ Руссы.

Я боюсь быть навязчивымъ, я сознаю, что, можетъ быть, отрываю его отъ своего дъла, н

все таки пишу, ибо деньги на исходъ: благопріятное мнъніе о разсказъ облегчить просьбу о нихъ. Въ ожиданіи я волнуюсь до крайностей.

— Ну, а что, если онъ напишетъ, что вещь безналежна? Что тогла?

Это «тогда» говорить мнв о печальномъ конць? Тупо, по цвлымъ часамъ я просиживаю за письменнымъ столомъ, думая, что неопредвленность положенія и матеріальная зависимость убивають меня больше чвмъ болвзнь, не дають мнв возможности спокойно и вполнв продуманно работать.

Наконецъ, получаю письмо отъ Горькаго и свой разсказъ.

«Васька Богдановъ—великолѣпная тема, но написана плохо. Длинно! Скучно! Для меня несомнѣнно, что вы будете писать и должны писать, но теперь вамъ нужно—учиться. Нужно читать и читать какъ можно больше и—хорошія книги. Получивъ это письмо и рукопись—приходите ко мнѣ часовъ въ 12 или въ 5. Нужно поговорить».

Я мало радуюсь фразъ, что «я буду писать и должент писать». Я чувствую одно огромное облегченіе, что теперь мнѣ легче будетъ заговорить о деньгахъ. И грустно на душѣ: если бы Горькій зналъ подъ давленіемъ чего я пишу свои разсказы!

Я беру читанную имъ рукопись, просматриваю и понимаю, что страхъ быть покинутымъ,

висить надо мной, какъ Дамокловъ мечъ; этотъ страхъ заставляетъ меня спъшить, спъшить до того, что я успъваю выявить только мысль, замыселъ, а облечь этотъ замыселъ въ нужную форму, въ красивыя краски — мой истощенный, малокровный мозгъ требуетъ на это время, а я ему этого не даю.

Съ грустнымъ чувствомъ, я въ 5 часовъ ѣду къ Горькому и въ первый разъ попадаю къ знаменитости на обѣдъ.

На мое счастье, кромф Горькаго и его жены за объдомъ никого.

И онъ и она ко мнѣ необыкновенно милы, участливы; я чувствую, что меня хотять «отогрѣть» и расцвѣтаю настолько, насколько можеть вообще расцвѣсть человѣкъ сильно иззябшій въ жизни и ушибленный ею.

Я сыть; уже пообъдать дома, но меня заставляють ъсть, полагая что я стъсняюсь.

Я сыть, пріемъ таковь, что будь голодень и забудешь о голодѣ. Я покоряюсь н ѣмъ. Меня журять за нелюдимость.

— Что же это вы? Столько времени прошло, а вы до сихъ поръ къ намъ и не заглянули,—говоритъ Марія Өедоровна.

Горькій подхватилъ:

— Да, да! Я тоже котыть сказать. Заходите къ намъ попросту какъ свой человъкъ. Объдаемъ мы всегда въ это время. У насъ бывають артисты, художники, писатели. А вамъ такихъ людей необходимо надо видъть.

Я на седьмомъ небъ. Благодарю и объщаюсь бывать.

— Въ театръ вамъ тоже непременно нужно бывать—добавляетъ Горькій.

Я на это отмахиваюсь рукой и заявляю, что слишкомъ дорого буду тогда Горькому стоить. Потомъ разсказываю, что дороговизна жизни въ Москвъ меня ужасаеть, что за одну только комнату плачу 24 рубля, а со всъми остальными расходами мнъ нужно около 60 рублей въ мъсяцъ.

Какіе же туть театры? Театры для меня дорогая вещь: въ театръ—на извозчикъ, изъ театра тоже.

Надо мной весело смѣются. Потомъ Горькій говоритъ:

— Деньги? Что деньги? Когда деньги выходять, пожалуйста, не стесняйтесь. Съ этимъ обращайтесь вотъ къ Марь в Оедоровнъ; деньгами она у меня завъдуеть. А въ театръ всетаки бывайте. Это вамъ тоже необходимо.

Я чувствую, что все предусмотрено, чтобы меня «приручить», чтобы сгладить мою остроту чувства зависимости—но противъ театровъ протестую:

— Не ръшусь. Дорого очень. Вотъ, если Марья Өедоровна раздобриться на даровые билеты миъ въ художественный театръ, тогда... «на дармачка» не откажусь.

Надъ «дармачкомъ» улыбаются н, по возможности объщаются доставать билеты, Потомь

Горькій предложиль мн'є разсказъ «Васька Богдановъ» попытаться передълать въ пьесу:

— Жаль его печатать, какъ разсказъ; разсказъ мало даеть. А когда передълаете—тогда посмотримъ...

И еще сюрпризъ:

— Вотъ что. Сегодня я вамъ дамъ письмо къ одному доктору; идите завтра къ нему—онъ осмотритъ васъ и направитъ, гдѣ и чѣмъ вамъ нужно лечиться. Писатель долженъ быть здоровымъ человѣкомъ.

Я уже не благодарю; я подавленъ заботами обо мнв до того, когда все принимается молча; наклоняю голову и коротко говорю:

— Хорошо,

Объдъ кончился.

Я получаю письмо, деньги, еще разъ напоминаніе чтобы я заходиль «запросто», не стъснялся въ расходахъ—и ъду домой.

Тихо на душѣ. Вся тяжесть прошлой жизнигдѣ-то далеко-далеко; чудится новая жизнь, новые прекрасные люди...

Изъ этихъ прекрасныхъ людей я зналъ пока еще двоихъ; тѣхъ, которыхъ только что оставилъ, но ради этихъ двоихъ все тяжкое и грубое въ прошлой жизни мнѣ хотѣлось простить и забыть.

Прошло два мъсяца.

Два мѣсяца головокружительныхъ обмановъ и темнаго страха.

Я лечился въ хорошей лечебницъ. Пьеса, передъланная изъ разсказа—дала мнъ нъчто совершенно нежданно-негаданное.

Два раза я Горькому напоминаль о его объщании устроить меня при Художественномъ театрѣ; какъ ни просили меня «не стѣсняться, когда нужны деньги», но я все таки тяготился зависимостью и предпочиталъ имѣть свое.

На мои просьбы Горькій разъ мнѣ отвѣтилъ, что какъ нибудь объ этомъ онъ съ дирекціей поговоритъ, а когда я заикнулся во второй разъ, онъ прямо заявилъ:

— Говорилъ вамъ и опять говорю: не стѣсняйтесь, когда нужны деньги. Почему вамъ непремѣнно мѣсто? Для писателя очень плохо, когда онъ связанъ какимъ нибудь дѣломъ.

Но, когда я передълалъ разсказъ въ пьесу и онъ прочиталъ ее—тогда мысль о мъсть онъ у меня отнялъ окончательно.

— Вотъ вы все говорили о мѣстѣ. На что вамъ оно? Эту пьесу я поставлю въ Художественномъ театрѣ. Она васъ обезпечитъ.

Я былъ ошеломлень; растерялся до того, что какъ истый мужикъ, почесалъ въ затылкѣ и глупо произнесъ:

— Hy...

А Горькій добавилъ:

— Тысячи двѣ ежегодно вамъ дастъ. Въ этомъ же сезонѣ поставимъ.

Слово «поставимъ» звучало такой увѣренностью, что мнѣ и въ голову не пришло сомнъваться въ этомъ. Въ пьесъ *) Горькимъ были сдъланы указанія на незначительныя измѣненія—и эти указанія онъ попросилъ меня выполнить поскорѣе:

— Долго не задерживайте. Принесете, я еще разъ просмотрю и пошлемъ въ цензуру.

Я по его указаніямъ исправилъ, отнесъ ему и... съ этихъ поръ началъ дълать глупости.

Первая глупость.

Вдохновленный тъмъ, что изъ моего разсказа вышла двухактная пьеса, да не для какого нибудь театра, а для Художественнаго—я читаю пьесы Ибсена, Гауптмана, нашихъ отечественныхъ драматурговъ, а потомъ... потомъ пишу четырехактную пьесу.

Меня зажгли, мнѣ одурманили голову и я убиваю себя, заставляя свой малокровный мозгъ, лихорадочно работать по 14 часовъ въ сутки сидя за столомъ, да кромѣ этого еще по ночамъ въ постели: вздремну часъ-другой и просыпаюсь и при свѣтѣ свѣчи пишу карандашомъ на клочкахъ бумаги.

Пятнадцать такихъ безумныхъ дней—и пьеса въ чернъ готова.

Со мной вмъстъ въ лечебницъ лечится драматургъ Ю. и артистъ А. И. Өедотовъ. **) Я лечусь отъ ревматизма; доктора довольны, когда

^{*)} Эта пьеса будеть напечатана к-вомъ «Современныхъ проблемъ».

^{**)} Покойный.

у меня за недълю прибавляется фунть въсу; они лечатся отъ ожиренія.

Ю. — титулованный аристократь; онъ мной очень интересуется, очень ко мнъ любезенъ—но моему самолюбію плебея это нисколько не льстить: я хорошо учитываю всю силу событій конца 1905 года и внутренне усмъхаюсь:

— Вотъ она гроза то!..

Въ другое время этотъ человѣкъ удостоиль бы меня только взглядомъ сверху-внизъ, а теперь... теперь меня увѣряютъ уста титулованнаго человѣка, что титулы—это предразсудки, что на трудящіеся классы онъ смотритъ не только съ точки зрѣнія равенства, но и выше: жизнь требуетъ обновленія, а господствующая надъ ней аристократія этого дать не можетъ, она вырождается; идутъ новые строители жизни—трудящіеся классы и они вольютъ въ нее новое и здоровое содержаніе...

И вотъ, Ю. узнаетъ отъ меня, что я написалъ четырех-актную пьесу и, заявляетъ:

Очень радъ буду ознакомиться съ ней.
 Дайте почитать.

Я говорю, что почеркъ мой безобразенъ и читать его очень трудно.

— Ничего, освоюсь.

Пьесу я нам'втилъ къ обработк'в; мнв очень хочется поскор'ве ее выправить и отдать на просмотръ Горькому, но и мнвніе драматурга интересуетъ. И я предлагаю:

- Очень радъ буду вашему просмотру; буду

благодаренъ вамъ за указанія, по вотъ бъда: пока вы ее будете читать—съ меня спадетъ настроеніе работать надъ ней. Такая ужъ у меня особенность. Насколько вы ее задержите?

- Быстро прочту.
- Дня въ три-въ четыре успѣете?
- Вполнъ. Объщаю въ три дня.

Я вручаю пьесу и искренно жалъю:

— Посмотрите, что за почеркъ? Тяжелый трудъ на себя берете Можетъбыть, подождете, когда она будетъ переписана получше?

Смотритъ Ю. на почеркъ и улыбается.

 Почеркъ не красивъ, но въ общемъ разборчивъ.

И вѣрно: Ю. свое слово сдержалъ. Черезъ три дня дѣлится со мной впечатлѣніями о моей пьесѣ.

Съ паоосомъ и жестами присущими артистамъ онъ долго говоритъ о тъхъ герояхъ пьесы, которые ему наиболъе понравились.

Прежде я съ острымъ вниманіемъ слушаю его-потомъ мое вниманіе притупляется.

Въ общемъ все похвалы, похвалы, но считатьли эти похвалы за дъйствительныя цънности этого я не чувствую.

Положительное я приму отъ человъка только тогда за положительное, когда вижу, что этотъ человъкъ можетъ уяснять себъ и обратную сторону положительнаго—отрицательное.

Словомъ, если хорошо—то почему?, если пло-ко—то тоже?.

Иначе похвалы и перицанія для меня пустыя звуки.

Долго говорилъ Ю. и кончилъ тѣмъ:

— Пьеса безусловно достойна постановки. По моему, какъ драматургъ, вы далеко пойдете: главное для драматурга у васъ есть—это умѣнье завязывать въ интересахъ мѣстахъ узлы. Гдѣ вы ее думаете ставить?

Со скучнымъ чувствомъ въ душт я принялъ этотъ послъдній панегирикъ и отвътилъ, что мъсто постановки пьесы зависитъ отъ Горькаго.

Потомъ я прочелъ эту пьесу А. И. Өедотову; онъ на похвалы оказался скупъ и сдѣлалъ нѣсколько такихъ существенныхъ замѣчаній о недостаткахъ пьесы, за которые я могъ быть только благодаренъ.

А въ общемъ, и его мнѣніе было таково, что пьеса постановки достойна.

Категорически объщанная постановка двухактной пьесы въ этомъ-же сезонъ, вновь написанная четырехактная и тоже не безнадежная—все это моей головы настолько, чтобы я вообразилъ себя исключительнымъ дарованіемъ и сталъ рисовать себъ большія перспективы, не вскружило, но на столько, чтобы спокойно глядъть на свое будущее—на эту мъру я былъ обманутъ.

Меня толкнули на ложный путь,*) а я началъ играть въ великодушіе: пусть я много пострадалъ, помытарился, но все таки я не погибъ—значитъ надо все и всѣмъ простить.

И я все прощаю, всъхъ предаю забвеню, кромѣ батюшки: онъ ультра-моралистъ, а потому съ него надо кое что спросить, ибо за эту мораль онъ удитъ не малыя денежки.

И воть я пишу ему, что если тоть матеріаль, который я даль ему и, за который мив было объщано заплатить дороже, чъмъ бы мив за него заплатила любая редакція, что если этоть матеріаль у батюшки цъль, если онь его не утилизироваль на то, на что думаль—пусть онъ вернеть его мив, я воспользуюсь имъ самъ.

А потомъ... потомъ ни слова ни говоря о томъ, въ какое положеніе поставилъ меня его внезапный отъѣздъ, какъ я изъ этого положенія вышелъ—прямо пишу, что дѣла мои поправляются, что въ этомъ сезонѣ мнѣ обѣщана постановка моей пьесы на сценѣ Художественнаго театра, (кѣмъ обѣщана—объ этомъ тоже ни слова) но пока я все еще нуждаюсь и прошу помочь пережить мнѣ трудное время: «Мнѣ нужно рублей 150, въ крайнемъ случаѣ 100; если у васъ будетъ возможность оказать мнѣ эту поддержку, я, когда поставитс я моя пьеса, верну вамъ эти деньги, а такъ же и тѣ, которыми быль обязанъ раньше съ глубокой благодарностью».

Отвътъ не заставилъ себя долго ждать: я получилъ его черезъ три дня.

> «Большое спасибо, что откликнулись. Какъ здоровье? Очень радъ, что вы ра-

^{*)} Потому этотъ путь называю «ложнымъ»: толкнули на этотъ путь и бросили на немъ. Словомъ, люди, какълюди!...

ботаете, но боюсь, что вы создаете себь иллюзію, будто поставять Вашу ньесу у Станиславскаго. Не думаю. Вамъ еще много надо работать надъ собой. Статьн Ваши всп нетронуты. Могу выслать. Съ деньгами заминка. Не могу дать. Много ушло на рабочихъ во время забастовки и сейчасъ идетъ на стипендіи студенчеству. Жаль, но не могу. Привътъ».

Я прочелъ И... скривилъ губы.

Не то письмо... Не тъ слова...

«Большое спасибо, что откликнулись».

Доволенъ человъкъ. Даже «большое спасибо говоритъ»...

«Какъ здоровье?...

Лучше батюшка, да только не по вашей ми-

Не то письмо, не тѣ слова... Ложь и ложь... И самодовольство буржуа въ рясѣ, что въ дѣлѣ милосердія «и онъ пашетъ». Что за сѣмена на этой пашнѣ онъ сѣетъ — этого не видитъ; посѣялъ немного и довольно: дальше платонизмами отлѣлаемся!

А если человъкъ встанетъ, поднимется, да промолчитъ, чъмъ онъ платился за такую помощь, за роль «человъка-мячика»—тогда и пальцемъ на него покажемъ: «въ трудное время ему помогъ!»

И всякій принишеть честь спасенія человъка себъ

Не въридъ я «ни въ рабочихъ», «ни въ сти-

пендіи студенчеству»; или, в рилъ, но... если дорого продаешь на книжномъ рынкъ свою мораль, такъ, въдь, для этого нужна реклама!

Зналь я эти тощія брошюрки на скверной бумагь, но цъна имъ такъ высока... цъну только и можеть оправдать реклама «добраго человъка». «Не только, моль, учить, но и самъ на дъль осуществляеть свое ученіе».

Радъ, что я «откликнулся» и хоть бы одно слово о томъ, какъ я дотянулъ до возможности откликнуться?

Какъ жилъ? Гдѣ? На что?

Ни одного такого вопроса. Какъ будто манна съ неба падаетъ!

О, вы '«повапленные гроба»! Тѣ лицемъры и фарисеи, что «по наружности кажетесь людямъ праведными, а внутри исполнены лицемърія и беззаконія».

Потомъ меня душила злоба на себя.

— Идіоть, — говориль я себѣ: — Ты хотыль вступить на путь великодушія, на путь прощенія: воть пожинай теперь плоды. Ты хотыль перекинуть мостикъ черезъ бездну — бездна раскинулась еще шире и глубже. Ты протянуль руку примиренія — тебя не поняли, обощли, ты стоишь съ протянутой рукой ошельмованный, оплеванный, а фарисей тамъ, можеть быть, злорадствуетъ на тебя за то, что ты еще разъ посягнуль на его «серебренники». *)

^{*)} Даже и это предположение сбылось. О немъ ръчь впереди.

Потомъ было грустно и больно... такъ, какъ у человъка съ сердцемъ разбитымъ печалью.

Мой глупый и наивный планъ вступить на путь примиренія быль таковъ.

Деньги мнъ были не нужны, ибо въ этомъ сезонъ въдь постановка моей пьесы!

И вотъ мой разсчетъ: онъ пришлетъ мнъ деньги, а я ихъ черезъ недълю верну. Верну и скину съ души ту тяжесть, которую навалилъ этотъ буржуа въ рясъ.

Глупый и наивный человѣкъ, — своимъ письмомъ я думалъ пробудить въ немъ совѣсть: вѣдь, не можетъ же онъ не задуматься, какъ, молъ, этотъ мой бывшій протеже существуетъ до сихъ поръ?

Не можетъ не вспомнить, когда объ этомъ напоминають, что за данный матеріалъ объщано заплатить больше, чъмъ кто либо заплатить?

Не задумался, не вспомниль такъ, какъ слидуетъ задуматься и вспомнить: слишкомъ толстокожъ! Деликатными намеками не проймешь значитъ остаются только грубые удары. Око за око! Я сълъ и написалъ ему.

«Пришлите, пожалуйста, мн мой матеріалъ: я его постараюсь использовать, какъ сумъю! *) Постановка моей пьесы — не иллюзія: это мн категорически объщано человъкомъ, имьющимъ при художественномъ театръ большой въсъ. Со-

вершенно согласенъ съ Вами, что мнѣ еше много надо работать надъ собой. И я работаю надъ собой. Буду ковать сильное оружіе противъ тѣхъ, про которыхъ сказано: «Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что затворяете Царство Небесное человѣкамъ; ибо сами не входите и хотящихъ войти не допускаете.» Противъ тѣхъ: «Вожди слѣпые, оцѣживающіе комара, а верблюда поглощающіе!» Словомъ, какъ человѣкъ, лучше меня знающій Евангеліе, Вы поймете меня».

Двѣ тысячи ежегоднаго дохода!

Я написалъ четырехактную пьесу; напишу, можетъ быть, еще нѣсколько пьесъ — но о томъ, что мнѣ онѣ дадутъ, объ этомъ не думаю.

Къ чему? Двѣ тысячи ежегоднаго дохода — это то, о чемъ я никогда не осмѣливался мечтать; это то, что меня сразу дѣлаетъ счастливѣйшимъ человѣкомъ.

Пусть, кому надо больше – хапаеть, а съ меня довольно и этого.

Я пишу Горькому письмо, гдт говорю, что объщанная имъ постановка моей пьесы даетъ мнт возможность къ тому, чего я такъ давно и такъ страстно хотълъ: хочу жениться на той которая такъ щедра съ грошевыхъ уроковъ!

Въ письмъ говорю подробно о томъ, кто она и, что она для меня: я безъ этой дъвушки —

^{*)} На это письмо я отвъта не получилъ; не получилъ я также и матеріала.

земля безъ неба. Она—крылья для моего вдохновенія; тотъ чудесный источникъ, который давалъ мнъ силу и даетъ, когда я начинаю падать отъ безсилья.

Я написалъ ему длинное письмо, а въ концъ, со слезами на глазахъ говорилъ, что тъмъ счастьемъ, что робкой тънью надежды жило въ моей душъ и, что помогло мнъ пережить то, чего одинъ бы не пережилъ—этимъ большимъ счастьемъ я обязанъ никому иному, какъ ему, Горькому.

Она, это мое «большое счастье», пріѣхала въ Москву въ половинъ сентября. Училась на Высшихъ Женскихъ курсахъ, гдв ей оставалось пробыть всего два года. Въраннемъ дътствь и юности прошедшая такой тяжкій, крестный путь, который въ концъ-концовъ учить въчному самоуглубленію, въчной внутренней работъ надъ собою-она была чужда поклоненію себѣ; все что въ ней-ее неудовлетворяло, хотелось быть большимъ и большимъ; все цели, къ которымъ она шла настойчивыми, твердыми шагами, не поднимали ее высоко въ своихъ глазахъ, а вырабатывали только критическое отношение къ себъ: смотръть на цъли въ жизни, какъ на долгъ передъ жизнью и, какъ можно строже относится къ своему «Я». Такія за себя не радуются: радуются за другихъ.

Какъ истинныя посланицы небесъ, отдаютъ сокровища своей души другимъ, а себѣ оставляютъ только право—право подвига.

И любять только тахь, кто «дитя несчастья».

Она навъщала меня въ недълю раза два-три и, съ постолнной боязнью:

— Родной, не помъщаю?

Молодая, красивая, съ голосомъ, который давалъ право авторитетамъ пѣнія сулить ей заманчивую карьеру большой пѣвицы, убѣждать, что погубить такой голосъ для такой маленькой роли, какъ учительница, это преступленіе противъ искусства, бравшихся за обработку ея голоса съ условіемъ, что платить за это она будетъ тогда, когда выдвинется—она твердо стояла на своемъ:

Буду учить дѣтишекъ. Всякому свое: иному сцена, иному школа.

Дъвушка, съ такими широкими перспективами на жизнь, она меня иногда пугала:

— Слушай. Что я тебъ? Больной, изломанмый мытарствами, человъкъ безъ воспитанія и образованія, человъкъ изъ другого класса— я боюсь, какъ бы вмъсто счастья не вышло несчастья.

Она хмурила брови.

— Что за глупости. Не ребенокъ. Отдаю себъ отчетъ въ томъ, что дълаю. Сердцу не прикажешь, кого любить и кого нътъ.

Она меня пугала, но она была и необходима, какъ воздухъ.

Несмотря на то, что неожиданности вродь постановки пьесы на меня падали, какъ съ неба—меня все же по временамъ охватывалъ смутими, страшный неподавимый страхъ передъ бу-

лущимъ, гдѣ Горькій стоялъ человѣкомъ вселявшимъ въ меня острую боязнь.

Почему я его долженъ бояться? Этотъ вопросъ казался дикъ, нелъпъ; его вниманіе и участіе ко мнъ уже выросло до трогательныхъ мелочей—онъ и его жена, когда я являлся кънимъ, спрашивали:

- А фуфайка теплая есть на васъ?
- Есть.

А одинъ разъ даже не повърили:

— Маруся, посмотри-ка, есть-ли?

«Маруся» отворачиваетъ обшлага верхней рубашки и убъждается:

- Есть. Не обманываетъ.
- Ну, то-то! Фуфайки вамъ непремънно нужно носить.

Какъ я могъ допускать какую-то боязнь этого человѣка?

И я не допускаль. А страхъ давиль, мучиль; я говориль себѣ, что я боленъ, что надо взять себя въ руки, а страхъ не отходилъ до тѣхъ поръ, пока я не мчался къ любимой дѣвушкѣ. Съ ней—у меня отъ страха только слѣды недоумѣнія.

Разъ она посмѣялась:

— Ты очень напуганъ другими —и больше ничего.

Разъ сдѣлала выводъ:

— А знаешь что: если боишься,—значить не любишь. Любимаго бояться нельзя.

Я увъряль, что любою любою огромнымъ,

необъятнымъ чувствомъ, люблю до крайности: когда я думаю о своей любви къ Горькому—мнъ представляется онъ, но онъ, олицетворяющій собою не только себя, а что-то большее, неизмъримое, что то такое то, во что мнъ страстно хочется върить, какъ въ неизмънно прекрасное.

Она подумала:

- А меня не боишься?
- Нѣтъ. Въ тебя вѣрю, какъ въ Бога.
- А въ чемъ ему не въришь?
- Самъ не знаю. Прежде боялся: броситъ, какъ другіе бросили. Теперь убъжденъ, что этого не будетъ, но чего-то боюсь.

И со смѣхомъ любящей женщины и съ чувствомъ матери, она меня успокаивала:

— Отбрось все это. Напугали тебя другіе до маніи—вотъ ты и выдумываешь.

Но моя боязнь оказалась «не маніей». Вскоръ послъ письма, гдъ говорилъ о намъреніи жениться, я пошель къ Горькому.

Встрѣтились по обыкновенію тепло, радушно; пожимая мнѣ руку, Горькій говорилъ:

— Да, отъ васъ есть здѣсь письмо. Я его еще не успѣлъ прочесть. Въ чемъ дѣло?

Я хотъть было ему объяснить, но въ это время Горькаго позвали къ какому-то прівзжему изъ Петербурга.

Я отложиль объяснение до слѣдующаго раза. Но и въ слѣдующій разъ мнѣ объясниться не пришлось: когда я пришель въ обычное время

къ объду—Горькій уже быль за столомъ, гдъ на этотъ разъ было человъкъ до 15 гостей.

И съ перваго момента, съ момента, когда я поздоровался съ Горькимъ и уловилъ на себъ его тяжелый, молчаливый взглядъ—впервые онъ меня встрътилъ молча, — я почувствовалъ, что что-то въ его отношеніяхъ ко мнъ случилось, что я тутъ сталъ чужой.

И это чувство не покидало меня до конца обѣда. Онъ, говоря съ другими, меня точно невидѣлъ, не бросилъ ко мнѣ ни одного слова, но три раза наши взгляды перекрещивались и я читалъ въ нихъ что-то противъ меня вражлебное.

— Почему?

Этотъ вопросъ поднималъ во мнѣ всю муть моего стараго страха; поднималъ и, должно быть, отражался на мнѣ очень замѣтно.

- Вы сегодня что-то исключительно плохо выглядите,—отнеслась ко мнѣ жена Горькаго. Я отговорился другимъ.
- Возможно. Леченіе у меня очень не легкое. Горькій взглянуль на меня и, опять мой взглядь встр'ьтился съ его и опять я прочель въ его взглядъ враждебное чувство.

Кончился объдъ. Когда вставали изъ-за стола, я сказалъ Горькому, что мнѣ надо съ нимъ поговорить.

Суровымъ тономъ, съ опущенными глазами внизъ, онъ отрѣзалъ:

— Мит некогда. Какъ нибудь потомъ.

Я ушелъ домой.

Безсонная ночь напролетъ.

То мнѣ казалось, что причина такого внезапнаго отношенія ничто иное, какъ мое письмо; тогда, я говориль себѣ, что должно быть недаромъ художникъ Вагинъ въ его «Дѣтяхъ Солнца» изрекаетъ: «художникъ долженъ быть одинъ,»—и я возмущался всей силой своего существа:

— У кого есть право накладывать свое «вето» на личную жизнь другого? И еще тотъ человъкъ, который такъ много говорить о томъ, чтобы любить жизнь, любить людей, выше всего ставить свободу личности? Если бы онъ далъ мнѣ совътъ—я послъдую этому совъту, но если мнъ молча даютъ понять: «Не смъть!»—подчиниться ли мнъ? Кому больше извъстна моя «внутренняя необходимость»—ему, или мнъ?

То мит казалось, что я просто на-просто создаю изъ мухи слона: какъ у человъка стоящаго во главъ движенія—развъ у него не можетъ быть дълъ неизмъримо важите одной личности? Ему не до меня—и больше ничего.

И эта мысль восторжествовала настолько, что черезъ день мит уже казалось, что я очень глупо поступиль вмъшивая его своимъ письмомъ въ свою личную жизнь.

И я сдълаль то, что хотъль: любимая дъвушка стала моей женой.

Прошло двѣ недѣли.

Нужны были деньги. Но самъ я побывать за

ними не могъ: простудился и слегъ въ постель отъ лихорадки.

Говорю женѣ:

Иди къ Горькому, если хочешь посмотръть на него.

Она пошла съ письмомъ отъ меня. Чувство независимости въ своей личной жизни проснулось во мнѣ настолько, что я въ письмѣ даже не упомянулъ, что это моя жена. Припомнилось письмо, то, которое было писано «со слезами на глазахъ» и, то, что по поводу этого письма не обмолвились ни однимъ звукомъ— это письмо казалось мнѣ урокомъ, чтобы впредь изъ своего «святая святыхъ души» ничего не выносить даже къ самымъ близкимъ людямъ. «Фуфайками» подкупили, ну и опростоволосился на то, на что совсѣмъ не слѣдуетъ,—горько иронизировалъ я надъ собой.

Въ письмъ я написалъ:

«Подательница письма та особа, о которой я писалъ. Самъ не могу быть: боленъ, нуждадаюсь въ деньгахъ. Будьте добры, пришлите».

Жена вернулась черезъ часъ; вернулась бодрая, оживленная—довольная тъмъ что видъла Горькаго:

— Ну, лицезрѣла знаменитаго Максима. Хотя ни обмѣнялись ни однимъ звукомъ. Его жена представила меня, онъ подалъ мнѣ руку, больше чѣмъ нужно посмотрѣлъ на меня, и ушелъ.

Я думаю надъ фразой «больше чѣмъ нужно», и машинально спрашиваю:

- А кто же деньги давалъ?
- Его жена. До того, какъ съ Горькимъ увидъться, мы съ ней проболтали съ четверть часа. Спрашивала, какъ твое здоровье, гдъ учусь, давно ли тебя знала. Я разсказывала и смъялась, что плохой ты молодоженъ: то работаешь, то болъешь.

Я ухватился за «молодожена».

«Теперь, значить, будеть знать». Хорошо. Посмотримъ, правъ-ли я въ своихъ подозрѣ-ніяхъ?

Черезъ недѣлю я отправился къ Горькому. Это было въ концѣ декабря. Всю эту недѣлю во мнѣ вспыхивали зловѣщія предчувствія, но поддаваться имъ вполнѣ въ присутствіи жены я не поддавался. Одинъ видъ ея давалъ мнѣ мужество не дѣлать преждевременныхъ заключеній.

Когда я вошелъ въ квартиру на меня сразу пахнуло недобрымъ: всюду безпорядокъ, сборы.

- Что это,—спрашиваю прислугу:—На другую квартиру перебираетесь?
- Нѣтъ. Уѣзжаемъ въ Петербургъ.
- А Алексъй Максимовичъ?
- Онъ и Марья Федоровна уже уѣхали. Поза-вчера еще.

Я спросилъ адресъ. И пока записывалъ его-прислуга вспомнила:

— Да, вотъ кстати! Тутъ Алексъй Максимовичъ велълъ доставить вамъ что-то.

233

Пошла и вернулась.

— Вотъ.

Развертываю и вижу... пьесу, которая категорически объщана къ постановкъ въ этомъ сезонъ!

михаилъ сивачевъ.

Пьесу и при ней ни одной строки!

Я пошель домой и написаль Горькому письмо, гдъ просилъ разъяснить мнъ о мотивахъ молчаливато возвраста пьесы.

Прошло болъе недъли-отвъта не было.

Я послаль повторное письмо, гдв сказаль, что не вижу за собой такого поступка, когда единствелно достойнымъ отвътомъ является молчаніе; что воля Горькаго на то, чтобы сділать для меня что нибудь положительное, т. е. чтобы дало мнѣ возможность существовать и работать, а не быть въ томъ же положении, въ какомъ былъ до него, или не сдълать - но одно я вправъ знать: за какую вину я становлюсь въ положение того зачумленнаго, внимание къ которому когда-то доходило «до фуфаекъ», а теперь хотять обойдти полнымъ молчаніемъ?

Отвъта не было.

И воть тогда то у меня раскрылись глаза на мон зловъщія предчувствія, когда я съ Горькимъ сходился; раскрылись на вст тт темныя страхи, когда меня заласкали «фуфайками».

Раскрылись глаза мои на мою странную, огромную любовь къ нему, на ту, что жизнь выгоорила себъ ръшимостью на смерть; на ту, что когда этотъ человъкъ давалъ мнъ иллюзіи на жизнь, а я ихъ не принималъ, чему смерть была свид тель; на ту любовь, что толкнула меня на такую великую покорность: принять жизнь только потому, что онъ этого хотълъ!

Я обожествиль человъка постольку, поскольку его можно на землѣ обожествить.

Я любиль его не только, какъ единицу, а какъ грезу, какъ тънь, какъ смутное очертаніе, какъ предчувствіе того прекраснаго, что таитъ въ себъ молчаливая темь народа, но что помоему убъжденію должно когда нибудь выявиться: я любилъ его, какъ творчество, таящееся въ корняхъ народа, какъ прообразъ того коллектива, единственно которому возможно осуществить «Царствіе Божія на землѣ».

Я любилъ его, какъ надежду на совершенную грядущую жизнь.

А онъ, что онъ мнъ даль? Уподобился «буржую въ рясѣ?» Даже больше: трогательность «фуфаекъ» — превратилась въ утонченную жестокость.

И за что?

За что брошенъ и обманутъ я? За что разбита такая прекрасная в ра-любовь?

И то мнв казалось, что только за то, что я дерзнуль пойдти противъ того, что художникъ долженъ быть одинъ». Тогда я искалъ большихъ подтвержденій:

Читалъ Горькаго.

И получалось такое впечатлѣніе.

Горькій создаль себъ слишкомъ отвлеченныя,

слишкомъ узкія, жестокія представленія о человѣкѣ.

Но человъкъ сотворенъ не по образу и подобію отвлеченныхъ представленій Горькаго.

Когда Горькій живеть въ своихъ произведеніяхъ самъ—онъ живетъ комплексомъ присушихъ человѣку чувствъ, но когда онъ пишетъ о другихъ, то человѣка (по его понятіямъ) онъ непремѣнно хочетъ уложить въ рамки своихъ отвлеченностей. Новый творецъ, творецъ воспитывающій человѣчество по такому шаблону, по которому не можетъ жить самъ. Подошелъ, взглянулъ и открылъ: «Не люди, а черти лиловые; а кто такимъ быть не желаетъ—пожалуйте подъ мой ранжиръ: мои «человѣки» всѣ подъ одну скобочку острижены! Индивидуальности, говорите? Свобода духа? Чушь. Свободу духа я признаю только за собой».

Потомъ мысль, что виною моя женитьба, я отбрасывалъ: казались уже слишкомъ дико.

Но что же тогда, что?

Отвъта не было.

Темная, неразъясненная жестокость оставалась тайной—давящей, ужасающей, гд въ тысячу разъ легче было бы обвинить себя; но какъ обвинить, когда не видишь къ этому поводовъ?

Мнѣ былъ нанесенъ чудовищный по силѣ ударъ: поколебалась моя вѣра въ грядущее возрожденіе жизни. Поколебалась моя вѣра въ народъ, ибо откуда, кромѣ него ждать то свѣтлое чудо, ту силу, которая создастъ истинную жизнь?

Интеллигенція? И изъ этой среды есть избранные—но одинъ въ полѣ не воинъ. Злыхъ силъ тьма, но если и изъ народа будутъ выходить не добрые строители, а высокомѣрные фразеры, себялюбивое узколюбіе, то, какъ можно жить?

Такіе предтечи родять только страхъ.

Въдь, ужасъ современной жизни можно принять только какъ переходную стадію къ лучшей; не будь надежды на лучшую, кто изъ понимающихъ этотъ ужасъ найдетъ въ себъ силы жить?

Никто. Броситъ страшное. «Будьте вы безконечно прокляты!»—и оборветъ свою жизнь.

Мнѣ былъ нанесенъ чудовищный по силѣ ударъ; ударъ, который могъ бы убить меня сразу, если бы... если бы около меня не было маленькой женщины!

Я переживаль потрясение — такое душевное потрясение, которое переживается годами, только потому, что со мной переживала его маленькая женщина.

Ко мнѣ шло то ужасающее безуміе, когда человѣкъ чувствуетъ себя, что онъ на землѣ одинъ, и не раздавило меня, ибо маленькая женщина умѣла давать мнѣ чувствовать, что насъ двое, а по временамъ и зажигала во мнѣ порывъ,—короткій, скоропотухающій, но порывъ:

— О, мы еще поборемся!

(Продолжение въ книгъ второй).

Р. S... Я прошу читателя не дѣлать скороспѣлыхъ заключеній о Горькомъ. Долженъ сказать, что изо всѣхъ людей, съ которыми я столкнулся въ литературѣ и внѣ ея—изо всѣхъ этихъ людей Горькій одинъ изъ лучшихъ. Правда, онъ меня бросилъ, какъ и многіе другіе, но изо всѣхъ этихъ многихъ онъ мнѣ и помогъ и научилъ меня больше, чѣмъ кто либо.

Если, читатель, вамъ кажется, что я осуждаю это будеть заблужденіемъ: я разсказываю исторію своей души такъ, какъ она реагировала. И для читателя полезно здѣсь только то: принять во вниманіе вообще душу человѣка, т. е. быть къ загнаннымъ жизнью почеловѣчнѣе.

А осуждать? Осуждать, читатель, погодите, ибо сказано: «Лицемъръ! вынь прежде бревно изъ своего глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть сучекъ изъ глаза брата твоего».



II. Отдълъ художественной критики.

- Фридрихъ Куммеръ. О смѣнѣ литературныхъ поколѣній и литературн. кумировъ. Перев. подъ ред. и съ предисл. П. С. Когана. Ц. 25 коп.
- В. М. Фриче. Отъ Чернышевскаго къ «Въхамъ». Цъна 40 коп.
- В. М. Фриче. Торжество пола и гибель цивилизаціи. (По поводу книги Вейнингера «Полъ и характеръ»). Цъна 55 коп.

Людвигъ Зерингъ. Метерлинкъ, какъ философъ и поэтъ. Цъна 60 коп.

Метерлинкъ, какъ философъ внутренней жизни.— Міросозерцаніе Метерлинка.— Стихотворенія и первыя драмы.— Драмы философа жизни.—Метерлинкъ, какъ теоретикъ искусства.

Книга Зеринга прочтется съ большимъ интересомъ русскими поклонниками Метерлинка, тъмъ болъе, что наша критическая литература о немъ совсъмъ не велика.

(«Одесское Обозръніе»).

Гальфданъ Лангаардъ. Оскаръ Уайльдъ. Его жизнь и литературная дъятельность. 2-ое изданіе. Цъна 40 коп.

Предлагаемая книга стремится дать возможно болье полное изображеніе захватывающей по своей трагичности жизненной судьбы оскара Уайльда. До сихъ поръ въ литературъ ньть всеобъемлющей картины личности поэта во всемъ его величіи и слабости, и эта книга вызоветь, несомивнию, къ нему интересъ во всехъ слояхъ нашего общества.

Германъ Эссвейнъ. Августъ Стриндбергъ. Опытъ психологической характеристики. Ц. 40 к.

Критическій очеркь Эссвейна можеть быть прочитань съ пользою всёми, кто интересуется эволюціей творчества Стриндберга. («Р;сскія Вёдомости»). Августъ Стриндбергъ.

полное собрание сочинений. При ближ. уч. М. и Е. Благовъщенскихъ, Зин. Венгеровой, Ю. А. Веселовскаго и В. М. Фриче.

Густавъ афъ-Гейерстама. полное собрание сочинений. При ближайшемъ участіи М. и Е. Благовъщенскихъ

и Ю. А. Веселовскаго.

Бьеристьерне-Бьерисонъ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. При ближайшемъ участіи М. и Е. Благовъщенскихъ Ю. А. Веселовскаго и А. и П. Ганзенъ.

Бернаръ-Шоу. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

Генрихъ Маннъ. полное собрание сочинений. При ближ. участін Виктора Гофмана и В. М. Фриче.

Томасъ Маннъ. полное собрание сочинений.

Шоломъ Алейхемъ. СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

Авторизованный переводъ.

Жориъ Экоутъ полное собрание сочинений. Авторизованный переводъ.

Марія Конопницкая. полное собрание сочинений. Авторизованный переводъ.

Владиславъ Реймонтъ. полное собрание сочинений. Авторизованный переводъ.

Германъ Бангъ. полное собрание сочинений.

Томасъ Гарди. полное собрание сочинений.

Бласко Ибаньесъ. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. При ближайшемъ участіи З. Венгеровой, М. Ватсонъ В. М. Шулятикова и др.